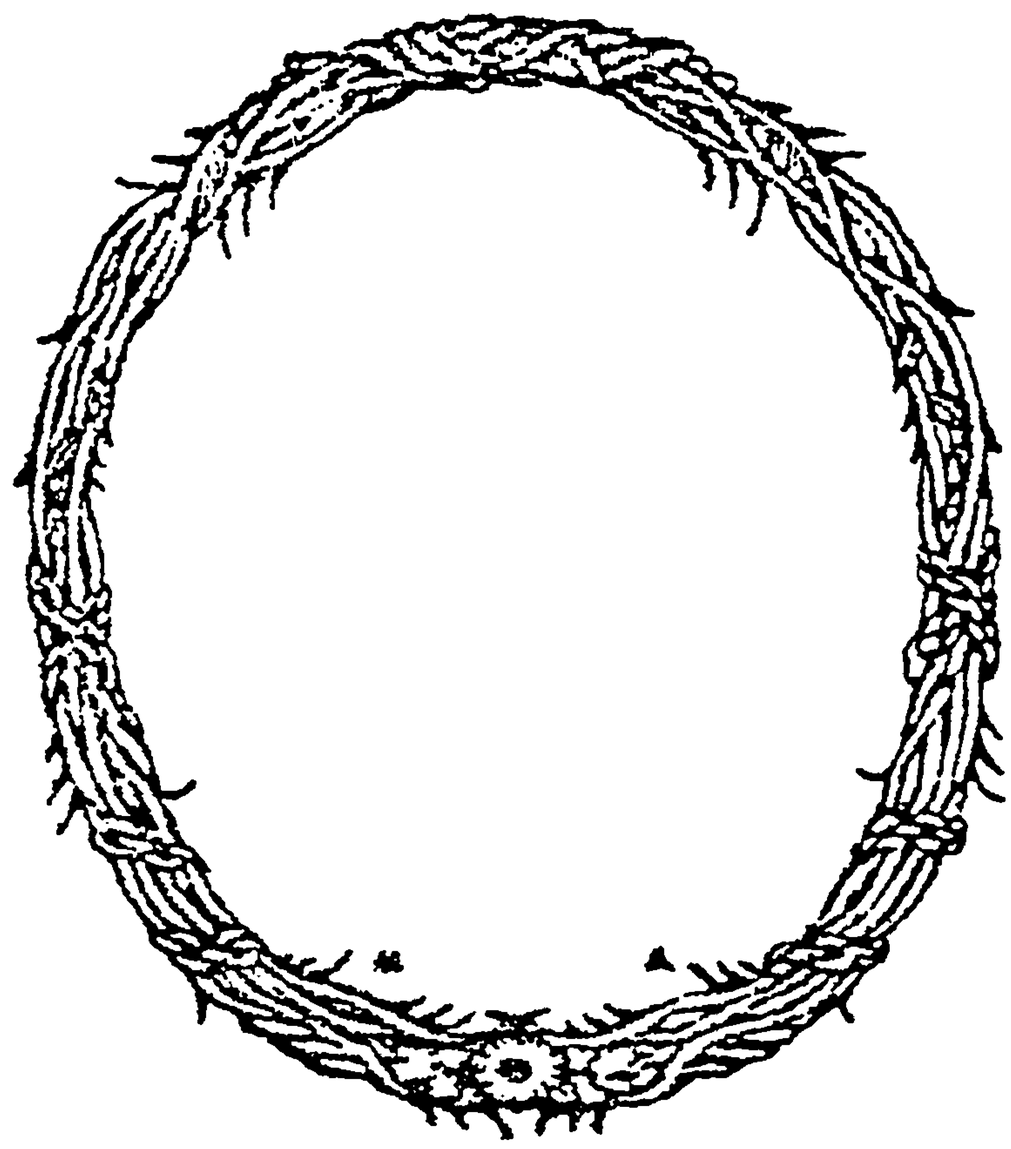
Собранные сочиненія

ѲЕДОРА СОЛОГУБА

Ч. XII



Изъ

ШИПОВНИКЪ

С. П. Б.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ШИПОВНИКЪ“
СПБ., Николаевская, 31.

Юморъ и сатира.

Аркадій Аверченко. Юмористическіе разсказы. Кн. I. Изд. 7-е. . . . . Ц. 1 р. 25 к.

Аркадій Аверченко. Юмористическіе разсказы. Кн. II. Изд. 6-е. . . . . 1 р. 25 к.

Аркадій Аверченко. Юмористическіе разсказы. Кн. III. Изд. 5-е. . . . . 1 р. 25 к.

Тэффи. Юмористическіе раз. Книга I. Изд. 5-е 1 р. 25 к.

Тэффи. Юмористическіе раз. Книга II. Изд. 4-е 1 р. 25 к.

Тэффи. Юмористическіе раз. Книга III. . . . (печат.)

Осипъ Дымовъ. Веселая печаль. Юмористическіе разсказы . . . . . 1 р. 25 к.

Саша Черный. Сатиры. Кн. I. Изданіе 3-е . . 1 р. 25 к.

Саша Черный. Сатиры. Кн. II. . . . . 1 р. 25 к.

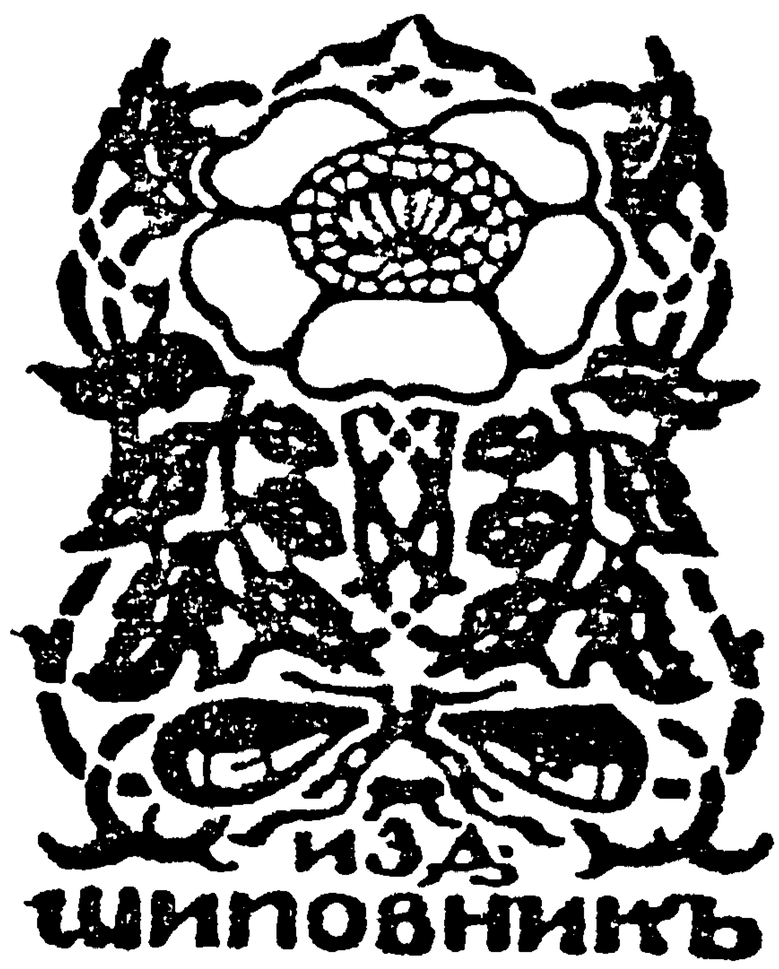
А. Измайловъ. „Кривое зеркало“. Изд. 3-е . . 1 р. 25 к.

Сафиръ. Избранныя произведенія. Пер. подъ ред. Саши Чернаго. . . . . 1 р. 25 к.

Маркъ Твэнъ. Избранныя произведенія въ трехъ томахъ. Пер. К. Жихаревой . . . . . по 1 р. 25 к.

Джеромъ К. Джеромъ. Избранныя произв. въ двухъ томахъ. Пер. З. Журавской . . . . . по 1 р. 25 к.

О. Л. д'Оръ. Смѣхъ среди руинъ. . . . . 1 р. 25 к.


ИЗД.
ШИПОВНИКЪ

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ» СПБ.

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

РАЗСКАЗЫ

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ» СПБ.

Т-во „Екатерингофское
Печатное Дѣло“, СПБ.,
Екатерингофскій пр., 10.
Тел. № 25-06 и 584-72.

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.

РАЗСКАЗЫ.

БѢЛАЯ БЕРЕЗКА.

I.

— Миленькая моя! Бѣленькая моя!

На бѣлую березку залюбовался, сидитъ на скамеечкѣ въ своемъ саду, шепчетъ,—самъ маленькій, тоненькій, блѣдный мальчикъ-подростокъ. Въ свѣтлой коломянковой блузѣ. Слегка согнулся. Руки чуть-чуть загорѣлыя, на колѣни положилъ,—и лежатъ онѣ, дремлютъ.

Подошла сзади тихохонько дѣвочка, и вдругъ засмѣялась, звонко такъ,—на румяномъ лицѣ смѣхъ разливается, и въ карихъ глазахъ нѣтъ ничего иного, кромѣ того, что на лицѣ. Присѣла на скамейкѣ рядомъ съ братомъ, сказала:

— На березку смотритъ, самъ о Любочкѣ сладко мечтаетъ. Дуракъ ты, Сережка! У нея—женихъ.

Сережа смотрѣлъ на сестру съ выраженіемъ неопредѣленнымъ, смутнымъ,—словно прислушивался къ тому, что она говоритъ, и не совсѣмъ понималъ ея слова. Вздохнулъ. Протянулъ тихонько:

— Придумала тоже! Что мнѣ Любка твоя! Очень мнѣ интересно! Приблизительно въ три раза красивѣе самой граціозной изъ болотныхъ жабъ.

Съ громкимъ смѣхомъ отвѣчала дѣвочка:

— Фу, дуракъ! Развѣ о дѣвицахъ такъ можно?

Сережа спокойно посмотрѣлъ на нее, и сказалъ:

— Ты, Зинка, ничего не понимаешь, а ругаться научилась. Если ты меня еще разъ дуракомъ назовешь, я тебя опять въ воду окуну.

Хмурясь полусердито, полупритворно, возразила Зина:

— Кто кого еще окунетъ!

Встала, тряхнула черными косичками, и отошла. Небрежно бросила брату:

— И разговаривать съ тобою не желаю.

Когда она совсѣмъ ушла, и уже не стало слышно по дорожкамъ жалобнаго скрипа песчинокъ подъ ея каблучками, Сережа подошелъ къ березкѣ, прижался къ ней ласково, и поцѣловалъ ея тонкую, розовато-бѣлую кору. Легкое трепетаніе пробѣжало по тонкому тѣлу березы, зашелестѣли веселые, невинные листочки наряднаго деревца, и туманящій голову запахъ, сладкій запахъ сѣверной бѣлой березы нѣжно обвѣялъ мальчика. Сережа тихо обнялъ стволъ березы, и прижался порозовѣвшею щекою къ легко щекочущимъ кожу лица гладкимъ пластинкамъ ея коры.

II.

Была ночь, сѣверная, легкая, прозрачная, призрачная ночь. Барышни сидѣли въ саду. Никуда не пошли,—устали за день. И смѣялись. Шумъ ихъ голосовъ непріятенъ былъ Сережѣ. Онъ ушелъ въ свою тѣсную каморку наверху, сѣлъ у окна, и глядѣлъ на розоватое, странное, милое небо, такое пустое и такое значительное, и ждалъ. Когда уйдутъ.

Дождался. Все затихло. Мальчикъ спустился въ садъ, и подошелъ къ своей березкѣ.

Дача стояла на высокомъ берегу. Внизу шумѣла рѣка, переливаясь по камнямъ. Все шумѣла, тихо, упрямо, однозвучно. Шумѣла, плескалась. Туманомъ прикрылась, и журчала, шурша о камни, о берегъ.

Тоненькая, тоненькая, какъ хворостинка, съ зеленоватымъ легкимъ тѣломъ и съ зелеными свѣтлыми глазами, поднялась изъ воды русалка. Сквозь тонкое ея тѣло пред-

меты слабо просвѣчивали, и глаза ея смотрѣли любопытно и странно,—неживые, не наши очи нежити, зачѣмъ-то таящейся около.

И тонкая, съ зеленовато-бѣлымъ тѣломъ, березка тихонько вздрагивала и лепетала что-то своими клейкими, сладкодушистыми листочками. Лепетала, шептала. Вздрагивала.

Изъ-за кустовъ пробиралась нездѣшняя, звала:

— Ко мнѣ иди лучше. Со мною веселѣе. Она молчитъ. Я тебѣ сказокъ наскажу.

Сережа сказалъ сердито:

— Пошла! Нужны мнѣ твои сказки! Сказки Гауфа читала? Нѣтъ? И Аѳанасьева не знаешь? То-то! Уходи.

Стеклянным, тонкимъ, звонкимъ засмѣялась смѣхомъ. Засмѣялась, ушла, легкая, прозрачная, призрачная. Гдѣ-то въ камышахъ долго лепетала что-то быстрое, неразборчивое. Не то смѣялась, не то плакала,—и жаловалась, и смѣялась. Русалочій смѣхъ—тонкія слезы. Русалочій смѣхъ. Лепетъ воды по каменьямъ.

И о чемъ лепечетъ? И о чемъ смѣется? И на что жалуется?

III.

Жарко было каждый день. Еще начало лѣта, и еще зеленая трава, и свѣженькая листва у березки, а уже торопитъ, торопитъ знойное лѣто.

Надо что-то сдѣлать, поскорѣе, пока не пожелтѣли клейкіе листочки на бѣлой березынькѣ. Бѣлая, кудрявая, милая березка!

Сережа на скамеечку подъ березкою легъ,—и стоитъ надъ нимъ березка, стоитъ, качается по вѣтру, тихохонько свѣжими листочками шелеститъ. Такъ весело и такъ томно.

А вотъ подошла кузина Лиза, веселая, румянощекая, черноглазая, черноволосая красавица, недавно овдовѣвшая, но уже опять веселая, обворожительная попрежнему. Подошла, стала надъ Сережею, запахла противными, сильными, нескладными духами, такъ не идущими къ зеленому саду

и нѣжно-пахучимъ, клейкимъ листочкамъ на вѣточкахъ у бѣлой березки,—и принялась дразнить Сережу. Такая ужъ у нея привычка.

Позвала тихонько и даже ласково, какъ-будто съ умильными пришла къ нему словами:

— Сереженька!

А сама таитъ, хитрая, злыя усмѣшечки, лукавыя насмѣшечки.

Сережа отвѣчаетъ сердито:

— Ну, чего тебѣ?

Уже онъ предчувствуетъ, что не съ добромъ Лиза пришла. И когда же съ добромъ приходитъ она, румяная и дебелая?

„Бабища!"—сердито бранится про себя Сережа.

Нахмурился сердито, легъ на животъ, и ногами болтаетъ преувеличенно развязно.

Ласково спрашиваетъ Лиза:

— Милый! лежишь, встать не можешь?

— Что такое?—не понимая, но уже досадуя, спрашиваетъ Сережа.

И спрашиваетъ Лиза:

— Лежишь подъ березкою, о Зиночкѣ мечтаешь, что же ты къ ней не пойдешь?

Сережа ворчитъ:

— Глупости!

— Можетъ быть, у тебя животикъ разболѣлся?—опять спрашиваетъ Лиза.

И тихонько смѣется.

— Глупыя глупости,—сердито отвѣчаетъ Сережа.

— Ты Зиночкиною помадою объѣлся?—очень ласково спрашиваетъ Лиза.

Гладитъ его по головѣ рукою мягкою и нѣжною, но слишкомъ сильною.

Сережа кричитъ сердито:

— Какія глупыя глупости! У Зиночки и помады нѣтъ, она не помадится.

— А ты откуда знаешь?—спрашиваетъ Лиза, и смѣется.— Ты у нея шарилъ? Но это нехорошо! И стянулъ ленточку на память. Гдѣ она?

Полѣзла въ Сережинъ карманъ.

— Не въ карманѣ ли носишь?

Сережа вскакиваетъ, и проворно убѣгаетъ. Отбѣжавъ на приличное разстояніе, онъ останавливается и звенящимъ отъ обиды голосомъ кричитъ:

— Вдова очень нахальная!

Лиза смѣется весело и уходитъ къ большимъ, такимъ же грубымъ и злымъ, какъ и она. Для нея было только маленькое развлеченіе, и о немъ сейчасъ же успѣла забыть,— а Сережѣ она испортила весь день.

Весь день настойчиво вспоминалась противная Зиночкина помада, которой и не было никогда у Зиночки, но отъ которой все-таки у Сережи весь день былъ скверный вкусъ на языкѣ, точно онъ и въ самомъ дѣлѣ объѣлся этою небывалою помадою.

Всѣ очарованія, и высокія, и низкія, изъ одной и той же темной восходятъ области, изъ зыбкой мглы небытія.

IV.

Опять ночь. Влажная, тихая, говорящая милліонами молчаній, роями неисчислимыхъ тишинъ. Ночь.

Стали такъ спокойно всѣ деревья въ саду, и заслушались. Заслушались. Замечтались.

И она одна шептала имъ. Прошептала тихонько, и тоже замолчала...

Слушали, что тихо говорилъ имъ задумчивый, блѣдный мальчикъ.

Тихій, теплый туманъ надвигался съ полей,—постоять, помолчать, послушать, помечтать. Въ бѣломъ и тихомъ забыться молчаніи.

Тихимъ шопотомъ говорилъ Сережа:

— Люблю тебя, милая, бѣлая березка. Только тебя люблю.

Чей-то голосъ, тихій и печальный, какъ легкій вздохъ, какъ сладкій звонъ свирѣли, спросилъ:

— За что?

И отвѣчая говорилъ Сережа:

— Люблю тебя за то, что ты—весенняя, что ты молчишь, не смѣешься, не дразнишь. За то, что ты выросла мнѣ на радость. На сладкую вешнюю радость.

Печальнымъ шопотомъ спросила тихая, таящаяся:

— Только на радость?

— Не знаю,—говорилъ Сережа.—Ты выросла, стоишь, и молчишь. И ничего не хочешь, и никого не ждешь, никого не зовешь. Не хочешь,—и хочешь. И хочешь такъ сладко, и такъ вѣрно. И что ты хочешь, то и сбудется. Вѣточки раскрылись, въ просторъ потянулись, листочками покрылись. Вся бѣлая, вся тихая, березынька моя милая. Ты меня приласкаешь, ты меня поцѣлуешь, ты мнѣ на радость.

— На радость, а не на муку?—печально спросила опять близкая, таящаяся.

— И если на муку,—тихо говорилъ Сережа,—пусть и такъ. Вотъ приникну къ тебѣ, вотъ будетъ мнѣ и тебѣ сладко и нѣжно.

— Сладко и нѣжно,—шепнула березка такъ тихо, такъ ласково.—Ты хочешь? ты можешь?—тихо шептала она.

Прильнулъ къ ней Сережа. Обнялъ руками ея тонкій стволъ, прижался головой къ ея нѣжной корѣ, замеръ въ сладкомъ восторгѣ.

Желанія томили, и была тоска и печаль. Кто-то плакалъ такъ близко и такъ грустно,—прозрачный и хрупкій звенѣлъ плачъ ревнивой русалки съ зеленою пѣною косъ, и изъ-за зеленыхъ рѣсницъ, затаившихся въ ея очахъ, падали холодныя слезы.

Садъ былъ весь полонъ туманною вешнею печалью. Безсильны были бѣлые пришлецы изъ влажныхъ долинъ, потерявшіе свои древнія личины, и новыхъ ликовъ еще не нашедшіе. Въ безформенный туманъ сливаясь, стояли они, и

томились, и вздыхали холодными вздохами ночной безсильной тоски.

Неживой и печальный ликъ поднялся высоко,—но безсильно было и его очарованіе.

Безнадежность и любовь...

Колыхался холодный туманъ, и неживою тоскою томились деревья въ саду надъ рѣкою, въ туманѣ, подъ луною холодною, ворожащею, но безсильною.

Двѣ жизни сплелись и трепетали, и пылали пламенемъ любви и восторга,—и вкушали онѣ горькую безнадежность ласкъ.

Такія же двѣ безнадежно далекія одна отъ другой, какъ и всякія двѣ души въ ихъ жизненномъ союзѣ,—вотъ соединили онѣ свои трепеты и свои устремленія, отдали другъ другу все, что было у той и у другой,—и изнемогали обѣ въ безсильномъ дрожаніи двухъ тонкихъ, трепетныхъ, холодѣющихъ тѣлъ.

Таящаяся, не показывающая никогда своего земного лица людямъ подошла близко, и ждала,—и вѣяло отъ нея на нихъ очарованіемъ, сильнѣйшимъ всѣхъ очарованій и восторговъ жизни.

И спросила она:

— Дитя неразумное, чего же ты хочешь?

Истекая сладкимъ сокомъ, шептала бѣлая березка:

— Только мгновенія! Теменъ бытъ, и тяжки оковы существованія,—о, дай мнѣ только одно пламенное мгновеніе.

Мгновенною молніею восторга вспыхнуло все тонкое тѣло бѣлой березки. И съ воплемъ безумнаго счастья упали на землю, умирая, два тонкія, два трепетно-холодѣющія тѣла.

СОНЪ УТѢШАЮЩІЙ.

I.

Сережа умиралъ.

Была страстная недѣля. Въ домѣ, какъ всегда, готовились къ празднику, радостному для дѣтей и пріятному для взрослыхъ,—красили яйца кошенилью, распускали въ кипяткѣ шафранъ для кулича, мѣсили творогъ и сметану для пасхи. Пахло ванилью и кардамономъ.

Паркетъ былъ натертъ съ мастикою, пыль и грязь отовсюду были заботливо убраны, окна вымыты. Прислуга сбилась съ ногъ. Барышни, Сережины сестры, мечтали о пріятныхъ поцѣлуяхъ, и морщились при мысли о томъ, что придется цѣловаться и съ противными.

А Сережа лежалъ въ своей комнатѣ, просторной, нарочно пустынной, чтобы мебель не отнимала воздуха, въ комнатѣ, гдѣ слащаво пахло салоломъ, и умиралъ.

Ему было только пятнадцать лѣтъ. Онъ былъ умный и веселый. Въ семьѣ его любили. Начиналась весна. Близокъ былъ праздникъ Свѣтлаго Воскресенія. Сережины сестры хотѣли радости, и боялись думать о смерти.

И то, что Сережа умиралъ, такъ не вязалось съ предпраздничною суетою, что хотѣлось всѣмъ обмануть себя, и думать, что онъ вдругъ для такого праздника почувствуетъ себя лучше.

Давно прихварывалъ. Рѣшили увезти куда-нибудь. Но какъ-то промедлили, не сумѣли выбрать быстро, куда именно везти. И вдругъ, неизвѣстно почему, процессъ въ легкихъ пошелъ такъ быстро, и Сережа такъ ослабѣлъ, что везти его стало невозможно: дорога будетъ утомительна, и теплый климатъ, все равно, уже не спасетъ.

Молодой докторъ говорилъ растерявшемуся Сережину отцу:

— Не болѣе мѣсяца.

Старый докторъ сказалъ равнодушно и устало:

— Да, или недѣль шесть.

Сережинъ отецъ суетливо провожалъ ихъ. Лицо у него было красное и сконфуженное, и движенія неловкія. То, что Сережа долженъ умереть, какъ-то не вмѣщалось въ его сознаніе. И мысли его были медленны и тупы.

Передъ зеркаломъ надъ каминомъ въ столовой онъ остановился, и зачѣмъ-то смотрѣлъ долго на свое лицо, поправлялъ сползающій на бокъ галстукъ, черный на бѣлой манишкѣ, и приглаживалъ дрожащими пальцами начинающіе сѣдѣть усы.

Какъ-то неловко, точно виноватый, подошелъ онъ къ столу, гдѣ его жена вынимала изъ теплой воды миндалины, съ которыхъ разбухшая сваливалась кожура. Засунувъ руки въ карманъ коротенькаго домашнаго пиджака, онъ постоялъ за ея спиною, и вдругъ, по какимъ-то едва уловимымъ признакамъ,—по ея непривычной сутуловатости, по легкому, какъ отъ заглушаемаго усиліемъ воли тѣлеснаго тайнаго страданія, вздрагиванію ея покраснѣвшей щеки, по неловкости ея всегда проворныхъ прежде пальцевъ,—онъ понялъ, что она все знаетъ.

Его поразило больно, что она не плачетъ, не бьется головою въ мягкихъ подушкахъ постели, а сидитъ здѣсь, съ младшими мальчиками, повидимому, спокойная, но такъ жестоко страдающая. И мальчики, помогая матери, болтаютъ и смѣются безпечно.

Острое ощущеніе ея одинокаго страданія вдругъ прони-

зало его неожиданно яркою болью. Какъ-то странно и нелѣпо сопя, онъ пошелъ быстрыми, мелкими шагами отъ жены, разсыпая на скользкій паркетъ дробный, сухой стукъ своихъ башмаковъ съ невысокими каблуками. Сѣренькій, маленькій, бѣжалъ онъ по гулкому коридору въ свой кабинетъ,—броситься на диванъ, лицомъ къ его высокой спинкѣ, метаться по его темно-зеленой кожѣ, томиться и вздыхать.

Услышавъ за спиною дробный стукъ его шаговъ, жена его покраснѣла еще сильнѣе, и что-то билось и дрожало въ ея лицѣ. Но она сидѣла прямая и спокойная. Кончила съ миндалемъ. Вытерла полотенцемъ мягкія, бѣлыя руки. Неторопливо пошла въ его кабинетъ.

И тамъ они сидѣли рядомъ, и плакали оба, и не знали никакого себѣ утѣшенія, и тосковали...

II.

Была Великая Суббота. Сережа заснулъ. И увидѣлъ сонъ, странный, но утѣшительный.

Былъ знойный день. Передъ Сережиными глазами простерлась долина, выжженная яркимъ блистаніемъ солнца. Сережа сидѣлъ на порогѣ бѣдной хаты. Широкія листья двухъ пальмъ бросали сквозную тѣнь на его загорѣлыя ноги и на бѣлую ткань грубой его одежды.

Сережа чувствовалъ себя маленькимъ, какъ десять лѣтъ тому назадъ, и очень радостнымъ. Маленькое тѣло, едва прикрытое бѣдною тканью, было легкимъ, какъ тѣло ангела, рожденнаго на землѣ. Все веселило,—земля, такая плотная и горячая подъ голыми ногами,—воздухъ, такой знойный, но легкій,—небо, такое синее, высокое, но и такое близкое, словно оно начиналось здѣсь, на землѣ,—быстрые полеты птицъ,—визги ребятишекъ около сосѣднихъ хатъ,—гортанный, совсѣмъ неожиданно-новый голосъ матери у колодца, гдѣ и другія стояли женщины, въ бѣлыхъ одеждахъ, смуглыя, босыя, весело-разговорчивыя, какъ и его мать.

Вотъ она возвращается домой. На ея плечѣ длинный,

узкогорлый кувшинъ. Высоко поднялась, придерживая его, смуглая, обнаженная рука. Яркими зорями пылаютъ ея щеки; яркимъ пурпуромъ пріоткрытыя улыбаются уста, на смугломъ лицѣ ея черные подъ широкою тѣнью длинныхъ рѣсницъ сіяютъ и радуются на ребенка глаза. Гордая ликуетъ мать о своемъ сынѣ,—и онъ тянется къ ней радостно и смѣется.

Въ его рукѣ игрушка, сдѣланная имъ самимъ изъ красной глины, размоченной въ ручьѣ,—птица, глиняная, но совсѣмъ, какъ живая.

Дивный маленькій ваятель лѣпилъ ее изъ косной глины,—и пальцы его были живы и быстры, и глина хотѣла ожить, и дивно изваянное изъ глины птичье тѣло трепетало въ жаркихъ дѣтскихъ пальчикахъ напряженіемъ воли, творящей жизнь.

Мать проходила мимо, торопясь освободиться отъ своей ноши. Улыбаясь, не сгибая стройной шеи, не склоняя головы, она косила на сына смѣющійся радостно взоръ знойно-черныхъ глазъ.

Мальчикъ протянулъ лѣвую руку къ матери, схватилъ кончикъ ея загорѣлой стопы, и закричалъ:

— Смотри, мама!

Слабо удивился было чуждому звуку своихъ словъ на иномъ нарѣчіи, но сейчасъ же забылъ, что говоритъ на чужомъ языкѣ, и пересталъ дивиться тому, что понимаетъ эти гортанныя слова.

Мать засмѣялась и остановилась. Спросила:

— Ну что, сынокъ?

Мальчикъ поднялъ руку съ глиняною птицею, и весело говорилъ:

— Вотъ, мама, птица, я самъ ее сдѣлалъ, и она поетъ, какъ живая.

Онъ приложилъ къ губамъ хвостъ глиняной птицы, гдѣ было отверстіе для свистульки, дунулъ въ него,—и изъ глинянаго клюва птички вырвался легкій свистъ. Ослабляя

и усиливая дыханіе, мальчикъ дулъ въ свою глиняную свистульку, рождая въ ней переливные, звонкіе звуки.

Мать смѣялась и говорила:

— Сынокъ-то у меня какой искусный! Какую птичку сдѣлалъ! Смотри за нею, держи ее крѣпче, какъ бы она у тебя не улетѣла.

И ушла себѣ въ хату, занялась своимъ дѣломъ. А мальчикъ на порогѣ задумчиво смотрѣлъ на свою птичку, тонкими пальчиками гладя ея перья. Спросилъ ее тихо:

— Хочешь летѣть?

И всколыхнулись крылышки у птички.

Опять спросилъ птичку мальчикъ:

— Хочешь летѣть?

И забилось сердце въ груди у птички.

Въ третій разъ спросилъ мальчикъ:

— Хочешь летѣть?

И затрепетало все птичье легкое тѣльце, поднялись перья, и забились крылышки,—защебетала птичка, поворачивая головку вправо и влѣво.

Мальчикъ раскрылъ руку. Полетѣла птичка. И слышенъ былъ въ яркой синевѣ воздушной ея радостный щебетъ. Все дальше. Все тише.

Все выше знойное солнце. Все душнѣе неподвижный воздухъ.

III.

Сережа проснулся, весь облитый липкимъ потомъ.

Мучительная боль въ груди, и дышать тяжело,—но гдѣ же ты, милая птичка? Та, которую я создалъ?

Вотъ, она за окномъ щебечетъ, трепещетъ крылышками, и улетаетъ.

Моя птичка!

А кто же я?

Приподнялся Сережа, и опять упалъ на подушку. Бредитъ, шепчетъ:

— А кто же я?

Мать наклонилась надъ нимъ,—не видитъ ея Сережа. Не видитъ стѣнъ своей комнаты,—опять отошло обставшее его сегодня.

IV.

Онъ на горѣ одинъ.

Широкіе простерлися передъ нимъ просторы, осіянные знойнымъ полуднемъ. Изношенная бѣдна его одежда, усталыя ноги его покрыты дорожною пылью, и сѣрая въ короткой, золотистой бородѣ его пыль.

Спутники его остались далеко внизу, въ тѣни оливъ, и спятъ, усталые.

А вокругъ него все ярче свѣтъ, и все торжественнѣе сіяніе широкихъ небесъ. Прозрачно рѣя въ воздухѣ, и небесную прохладу неся въ широко взвѣваемыхъ складкахъ своихъ одеждъ, два свѣтозарные мужа предстали и бесѣдуютъ съ нимъ. И спрашиваетъ онъ:

— А кто же я?

— Не бойся,—говорятъ ему свѣтозарные мужи,—ты въ третій день воскреснешь.

И уже пламенно бѣлы его одежды, и уже огненный нимбъ надъ его головою, и огнемъ вся въ тѣлѣ пламенѣетъ его кровь, и несказанный восторгъ исторгаетъ изъ его груди громкій вопль.

V.

Очнулся. Сбѣжались на его крикъ, испуганные стоятъ у его постели.

Тонкая струйка крови течетъ изъ его рта, выливаясь изъ лѣваго края поблѣднѣвшихъ губъ. Лицо его мертвенно-бѣло, глаза испуганно смотрятъ выше милыхъ своихъ, собравшихся у его смертнаго ложа,—широкіе глаза, неподвижный ужасъ.

Черная, безглазая, только страшными, бѣлыми сверкая зубами, подходитъ къ нему неумолимая, вѣя вѣчнымъ холодомъ и вѣчною тьмою. Она громадная, она весь выпила Сережинъ воздухъ, и, какъ черная туча, колыша тяжелыя складки своихъ одеждъ, стремится она прямо на Сережу.

Но слышенъ голосъ свѣтозарнаго мужа, подобный грому:

— Въ третій день воскреснешь.

И за черною мантіею мертвой гостьи загораются золотыя молніи воскреснаго дня, радуя Сережины очи. Сережино блѣдное лицо озаряется радостью золотыхъ молній, и въ глазахъ его тихій восторгъ. Онъ шепчетъ, задыхаясь:

— Въ третій день воскресну.

И умираетъ...

VI.

Въ третій день его хоронили.

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ВОСКРЕСЪ.

I.

Иванъ Ивановичъ Завидонскій, чиновникъ очень усердный, служилъ постоянно въ столицѣ, гдѣ родился и выросъ.

Родители его давно умерли. Близкихъ родственниковъ у него не было. Съ дальними видѣлся онъ рѣдко и неохотно. Друзей и пріятелей постоянныхъ онъ себѣ не завелъ. Перевалило уже ему за тридцать пять лѣтъ, а онъ все еще жилъ холостякомъ. Снималъ комнату у хозяйки,—нынче здѣсь, а на слѣдующій годъ въ другомъ мѣстѣ.

Жизнь Ивана Ивановича проходила скучно и однообразно. Видя это, его случайные пріятели порою говорили ему за откровенною бутылкою вина или за безцеремонною парою пива гдѣ-нибудь въ шумномъ, тѣсномъ ресторанчикѣ, облюбованномъ служащими въ разныхъ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ,—чиновниками, бухгалтерами, приказчиками:

— Хорошій ты человѣкъ, Иванъ Ивановичъ, а живешь ты не по-людски. Не живешь, а киснешь, точно мертвый.

Иванъ Ивановичъ въ недоумѣніи спрашивалъ:

— Почему?

Блѣдное лицо его наклонялось надъ не слишкомъ чистою скатертью, и мутные отъ водки глаза вопросительно обводили собесѣдниковъ.

Тѣ смѣялись, и одинъ изъ нихъ говорилъ:

— А потому, Иванъ Ивановичъ, что ты не женишься.

Иванъ Ивановичъ спорилъ:

— А что хорошаго жениться? То ли дѣло холостая жизнь. Что хочу, то и дѣлаю; куда хочу, туда и пойду.

Пріятели говорили:

— Зато у тебя неуютно, неряшливо.

Иванъ Ивановичъ возражалъ:

— А мнѣ и такъ хорошо. Главное—свобода.

Но, говоря такъ, Иванъ Ивановичъ все-таки чувствовалъ, что жизни его чего-то не хватаетъ. Какъ-то сухо, непривѣтливо протекала она, и порою самъ себѣ казался онъ мертвымъ.

Хотѣлось бы воскреснуть. Да какъ воскреснешь?

II.

Затягиваетъ Ивана Ивановича однообразнымъ своимъ ходомъ скучная машина жизни. Встанетъ онъ не рано. Голова тяжелая. Мысли непріятныя. Надо итти на службу.

Встаетъ, собирается. Платье чищено кое-какъ. На бѣльѣ не хватаетъ пуговокъ. То тамъ, то сямъ прорѣхи.

Самовара пока дозвонишься. Посуда сборная. Скатерть въ пятнахъ. Пьетъ Иванъ Ивановичъ, а въ комнатѣ еще ночной безпорядокъ.

На службѣ работа спустя рукава, скучная, неинтересная, медленная. Больше на показъ. А нѣтъ вблизи начальника,— говорятъ, курятъ. Разсказываютъ анекдоты, конечно, неприличные, но зато веселые. Кое-какъ досиживаютъ,—и разбѣгаются.

Обѣдъ въ ресторанѣ. Водка. Разговоры со случайными сосѣдями о случайныхъ предметахъ. Чаще всего о внѣшней политикѣ. Если обѣдаетъ съ сослуживцами, то говорятъ о своихъ департаментскихъ интересахъ, о строгостяхъ новаго министра, о наградныхъ, о перемѣщеніяхъ и повышеніяхъ ожидаемыхъ и чаемыхъ.

Потомъ—пустыня вечера, которую надо чѣмъ-нибудь наполнить.

Въ гости,—карты, флиртъ, вино, болтовня.

Въ театръ,—фарсъ, оперетка.

Потомъ опять ресторанъ. Попойка.

Случайныя женщины, крикливыя и жадныя. Съ ними поѣздки въ какіе-то притоны, то шикарные и дорогіе, то попроще и подешевле. Но всегда одинаково-противные и насквозь гнусные.

Напряженная, шумная веселость, а на днѣ души—липкая, тусклая, вѣчная скука. И никуда отъ нея не уйти.

Зато Иванъ Ивановичъ вездѣ бываетъ на премьерахъ, открытіяхъ, чтеніяхъ, слушаетъ и смотритъ всѣхъ пріѣзжихъ знаменитостей, интересуется борьбою, слегка играетъ на тотализаторѣ, записанъ членомъ двухъ клубовъ. Въ игрѣ довольно счастливъ.

Только дома у него грязно. Ни принять кого, ни угостить.

III.

Наконецъ, когда жалованье Ивану Ивановичу прибавили, нанялъ онъ свою квартиру въ четыре комнаты, и завелъ обстановку. Квартира на Петербургской сторонѣ, но близъ линіи трамвая. Комнаты маленькія, обстановка не Богъ вѣсть какая, но для холостяка чего же больше? Живетъ!

На полу въ кабинетѣ Иванъ Ивановичъ коверъ разостлалъ. На стѣну въ гостиной повѣсить купилъ гравюръ и фотографій, и заказалъ къ нимъ красивыя рамочки,—все въ родѣ тѣхъ гравюръ, фотографій и рамокъ, которыя видѣлъ онъ у своихъ семейныхъ знакомыхъ. Провелъ электрическое освѣщеніе.

Въ кабинетѣ на столѣ Иванъ Ивановичъ телефонъ поставилъ. Какъ же, нельзя безъ телефона! У всѣхъ есть. Чуть что, сейчасъ позвонишь, соединятъ, спросишь:

— Это дирекція итальянской оперы?

— Да.

— Билеты на Таису есть

— Сколько угодно.

Или къ знакомымъ:

— Петръ Петровичъ дома?

— Его нѣтъ. А кто говоритъ?

— Это я говорю, Завидонскій.

— А, Иванъ Ивановичъ, здравствуйте. Узнаете по голосу?

— Какъ же! Здравствуйте, Анна Алексѣевна. Вечеромъ собираетесь въ оперу?

— Нѣтъ, сегодня мы дома. Приходите. Свободны?

— О, да, благодарю очень. Съ большимъ удовольствіемъ.

— Кстати, я еще кое къ кому позвоню.

Вотъ и позвали. Вотъ вечеръ и наполненъ.

IV.

А все-таки скука! Въ квартирѣ пусто и холодно. Скучно, что о всѣхъ мелочахъ надо самому распорядиться.

Кухарка, правда, попалась хорошая, и готовитъ отлично, такъ что и пригласить порою кое-кого можно. Но когда его спрашиваютъ:

— А сколько у васъ выходитъ на хозяйство?

И онъ говоритъ цифру, то дамы смѣются. Спрашиваютъ насмѣшливо:

— Это на одного?

Барышни смотрятъ съ сожалѣніемъ на Ивана Ивановича, но ничего не говорятъ. Или заводятъ нарочно разговоръ о другомъ, чтобы вывести Ивана Ивановича изъ неловкаго положенія.

И догадывается Иванъ Ивановичъ, что кухарка обкрадываетъ его беззастѣнчиво. Но какъ же быть? Не ходить же ему самому за мясомъ, за рыбою, за дичью?

Горничная тоже попалась ему очень приличная, красивая, видная, знающая свое дѣло. Но она, очевидно, разсчитываетъ на что-то. Она иногда подходитъ къ Ивану Ивано-

вичу ближе, чѣмъ надо, а то вдругъ вспыхиваетъ и убѣгаетъ слишкомъ быстро. Порою у нея разстегнется невзначай кофточка, обнажая кусочекъ бѣлой, высокой груди. Порою, перемывая чайную посуду, руки откроетъ слишкомъ высоко, и такъ зайдетъ за чѣмъ-нибудь въ кабинетъ къ Ивану Ивановичу.

Порою ночью встанетъ и бродитъ по комнатамъ босая. Иванъ Ивановичъ выглянетъ изъ двери, досадливо спроситъ:

— Что вы, Наташа?

Она улыбается, смотритъ на Ивана Ивановича долго, и не спѣша говоритъ:

— Простите, баринъ. Кошка мяучитъ гдѣ-то. Хочу ее на кухню выгнать, чтобы вамъ спать не мѣшала.

Постоитъ еще немного, играя глазами, потомъ вздохнетъ, и уходитъ, бѣлѣя въ темномъ коридорѣ изъ-подъ сѣраго платка низомъ рубашки и мягко ступающими ногами.

Все это возбуждаетъ Ивана Ивановича. Но онъ не хочетъ заводить связи съ горничною. Чувствуетъ, что это опасно, липко, и потому ведетъ себя очень осторожно,—какъ бы не въѣхать!

V.

Все чаще и чаще повторяютъ Ивану Ивановичу знакомые и случайные, сегодняшніе пріятели:

— Женитесь, Иванъ Ивановичъ, воскреснете.

Все чаще и чаще повторяетъ себѣ Иванъ Ивановичъ:

— Женюсь,—воскресну.

Не легко было Ивану Ивановичу рѣшиться на это. Привычки холостой жизни были ему сладки, и страшила неизвѣстность.

Но счастье подстерегаетъ человѣка на всѣхъ путяхъ его. Какъ ни бѣжитъ отъ него человѣкъ, оно таки раскидываетъ надъ нимъ, какъ мальчикъ надъ бабочкою, свою радужную сѣтку, и ловитъ упрямаго, и сажаетъ его въ коллекцію счастливыхъ.

И особенно, если это человѣкъ зрѣлаго возраста, но еще безъ единаго сѣдого волоска, на хорошемъ счету у своего начальства, первый кандидатъ на должность начальника отдѣленія, да и самъ кое съ какими средствами.

VI.

И вотъ, нашлась барышня, Марья Ивановна Краснолѣская, генеральская дочка,—и она очаровала Ивана Ивановича. И сама очарована была его прекрасными достоинствами и восхитительною внѣшностью.

Нѣтъ никакой надобности разсказывать подробно о томъ, какъ Иванъ Ивановичъ и Марья Ивановна познакомились на танцовальномъ вечерѣ у одного директора департамента, какое они произвели впечатлѣніе другъ на друга, какъ родители Марьи Ивановны покровительствовали ихъ зарождающейся любви, какъ они хлопотали о быстрѣйшей карьерѣ Ивана Ивановича, какъ нѣкто влюбленный и коварный строилъ козни, и былъ посрамленъ, и о многомъ еще интересномъ. Все это давно ужъ разсказано въ старыхъ романахъ. Значительны только послѣднія страницы романа; въ нихъ говорится о томъ, чѣмъ дѣло кончится, и на чемъ сердце успокоится.

Когда Марья Ивановна услышала трепетное признаніе и роковой вопросъ, она, краснѣя очень и улыбаясь смущенно, но не колеблясь ничуть и не раздумывая ни минуты, сказала:

— Да. Поговорите съ мамашею.

Иванъ Ивановичъ, за мгновеніе до этого еще томившійся неизвѣстностью и страхомъ отказа, вдругъ просіялъ. Цѣлуя руки своей невѣсты, онъ воскликнулъ:

— Марья Ивановна, теперь я воскресъ!

Но онъ ошибался. Какое же это воскресеніе, когда человѣкъ еще холостъ. По-настоящему воскресъ Иванъ Ивановичъ только тогда, когда обвѣнчался съ Марьею Ивановною.

VII.

И точно,—теперь жизнь Ивана Ивановича ровна и спокойна. Въ квартирѣ его уютно и свѣтло. Слышны милыя голоса Марусиныхъ подругъ.

Женины родственники любятъ Ивана Ивановича, и стараются дѣлать ему маленькія и большія пріятности.

Кухарка, обсчитывавшая Ивана Ивановича, уличена и уволена. На ея мѣсто взята другая. Она готовитъ не хуже, а красть не можетъ, потому что Марья Ивановна строго и внимательно контролируетъ ея счета.

Горничная осталась та же. Но уже она знаетъ свое мѣсто и не имѣетъ никакихъ претензій на благосклонность Ивана Ивановича.

Хорошо теперь живется Ивану Ивановичу! Уже онъ не засиживается по кабачкамъ и по ресторанамъ. Когда сослуживцы соблазняютъ его закатиться куда-нибудь, онъ говоритъ:

— Извините, сегодня я не могу. Сегодня мы съ Марусею ѣдемъ къ ея бабушкѣ.

— Ну, завтра.

— Простите, и завтра не могу. У насъ ужинаютъ завтра Марусины папа и мама.

— Ну, послѣзавтра.

— Послѣзавтра, пожалуй. Только знаете ли, иногда хочется и дома посидѣть, отдохнуть.

Лицо у Ивана Ивановича румяное и веселое. Глаза его поблескиваютъ. Брюшко пріятно округляется. Жизнь его наполнена и успокоена. Ужъ онъ не кажется самъ себѣ мертвымъ, какъ нѣкогда прежде.

Иванъ Ивановичъ счастливъ, Иванъ Ивановичъ воскресъ.

ПУТЬ ВЪ ЕММАУСЪ.

I.

На Страстной недѣлѣ въ семьѣ Синегоровыхъ, какъ въ прошлый годъ, какъ и всегда, было предпраздничное оживленіе. Особенно веселы были младшіе члены семьи, гимназистъ Володя, двѣнадцатилѣтній мальчикъ, и десятилѣтняя Леночка.

Интересно очень было имъ участвовать въ раскрашиваніи яицъ разноцвѣтными шелковыми тряпочками, обрывочками лентъ и переводными картинками. Да и традиціонная въ ихъ семьѣ кошениль распускала въ горячей водѣ свою красную кровь такъ забавно. Такъ же очень пріятно было попробовать пасху,—она сладкая и вкусная, и хотя еще сырая, еще не была подъ прессомъ, а прямо изъ горшка, зачерпнутая деревянною большою ложкою, но тѣмъ, конечно, интереснѣе.

Мама озабочена была подарками для родныхъ и для прислуги,—чтобы всѣ остались довольны, и чтобы не потратиться слишкомъ. Отецъ шелестѣлъ кредитными бумажками, и досадливо морщился. Ворчалъ:

— Охъ, ужъ мнѣ эти праздники! Вотъ гдѣ они у меня сидятъ,—говорилъ онъ, потирая свой красный подъ сѣдыми волосами затылокъ.—Я очень радъ, что заговорили о сокра-

щеніи праздниковъ. Что тамъ Никонъ вологодскій ни пишн. а сократить положительно необходимо.

Гимназистъ Володя дѣловито возражалъ:

— Ну, ужъ Пасху-то намъ не сократятъ. Ужъ этотъ праздникъ во всякомъ случаѣ останется.

Александръ Галактіоновичъ Синегоровъ сердито говорилъ, съ невольною завистью глядя на беззаботно-румяное лицо и на мальчишески-лукавую улыбку своего сынишки:

— Нѣтъ, я бы вотъ именно этотъ-то праздникъ первымъ дѣломъ сократилъ. Ни въ какой другой день такъ много денегъ не выходитъ.

Его жена, Екатерина Константиновна, останавливала его:

— Саша, побойся Бога! При дѣтяхъ, что ты говоришь! И совсѣмъ на тебя не похоже,—вовсе ты не такой скупой. И ты самъ прежде всегда такъ любилъ этотъ праздникъ.

II.

Въ это время вошла въ комнату Нина Александровна, старшая дочь Синегоровыхъ, блѣдная, высокая, черноглазая дѣвушка. Вслушавшись въ разговоръ, она усмѣхнулась невесело и сказала тихо:

— Да, я въ этомъ совершенно согласна съ папою. Какой же намъ праздникъ! Какая же у насъ Пасха! Кому же мы скажемъ Христосъ воскресъ! Кого же мы съ любовью обнимемъ!

Екатерина Константиновна съ ужасомъ воскликнула:

— Ниночка, Ниночка, что ты говоришь! Какъ же это спрашивать, кому! Ну, конечно, своимъ, роднымъ, друзьямъ, знакомымъ.

Тихо и печально говорила Нина:

— Ахъ, мама милая! что же роднымъ, знакомымъ! Вѣдь это всемірный праздникъ, для всѣхъ. Въ церкви были, причащались, при этомъ всѣмъ врагамъ своимъ должны были простить, всѣмъ, всѣмъ, кто причинилъ намъ зло. А я какъ

же? Вотъ, жениха моего казнили, и теперь уже въ сердцѣ моемъ нѣтъ злобы, и я простила. И судья, и палачъ,—Богъ съ ними! Но какъ открою мои объятія, какъ поцѣлую?

Мама сказала строго:

— Нина, Христосъ все-таки воскресъ, и если бы ты вѣровала, то нашла бы утѣшеніе.

Нина улыбнулась. Она знала, что ни мать и никто другой не могутъ сказать ей утѣшающихъ словъ, которыхъ бы и она сама не знала. И она молча ушла къ себѣ.

III.

Древняя, мудрая вѣра, не оправданная разумомъ, но торжествующая надъ нимъ, что же ты меня не утѣшаешь?

Вотъ, друга моего умертвили, и онъ шелъ на смерть, на позорную казнь, полный гордыми надеждами, какъ и до него многіе въ вѣкахъ шли умирать въ надеждѣ воскресенія. Но въ сердцѣ моемъ темное уныніе и тоска, и одна ли я тоскую безсильно?

Старыя, дѣтскія воспоминанія пробуждались въ бездѣйственно-тоскующемъ умѣ. Вдругъ захотѣлось прочитать страницу изъ Евангелія.

Нина нашла маленькую книжку. Открыла Евангеліе отъ Луки. Прочла разсказъ о явленіи Христа двумъ ученикамъ по дорогѣ изъ Іерусалима въ Еммаусъ,—простодушный и трогательный разсказъ.

„Не горѣло ли въ насъ сердце наше?“

Нина закрыла книгу. Сладкимъ и смутнымъ томимая безпокойствомъ, надѣла весеннюю шляпу, демисезонное пальто и вышла на улицу.

IV.

Была Великая Суббота, и уже вечерѣло.

Два молодые человѣка, очень сильно напомаженные, чрезмѣрно завитые, вышли изъ парикмахерской, и имъ было ве-

село. Дворники развѣшивали на проволокахъ отъ одного фонарнаго столба до другого разноцвѣтные шкалики для иллюминаціи. Хихикали молоденькія швейки, пробѣгая торопливо. Извозчики были уже пьяны и красны.

Молодой телеграфистъ провожалъ куда-то двухъ барышень, которымъ было холодно въ ихъ нарядныхъ платьицахъ. Онъ ихъ увѣрялъ:

— Въ нашей церкви гораздо лучше, какъ можно сравнивать, помилуйте!

Барышни говорили что-то, обѣ вмѣстѣ, но вѣтеръ относилъ ихъ слова, и Нина ихъ не разслышала.

И все было какъ-то обычно празднично. Заведенный изстари праздникъ приготовлялись справлять люди, праздникъ среди праздниковъ,—и день, которому должно было быть праздникомъ изъ праздниковъ, торжествомъ изъ торжествъ, будетъ, конечно, только табельнымъ днемъ, одною изъ неизбѣжныхъ принадлежностей скучнаго быта.

Но развѣ сердце мое не горитъ во мнѣ?

V.

Вотъ на перекресткѣ двухъ шумныхъ улицъ подходитъ къ Нинѣ кто-то, какъ-будто бы знакомый ей. Но туманъ лежитъ на ея памяти, и на глазахъ ея—незримая, но тяжелая пелена. И воля ея окована уныніемъ и тоскою, и даже не хочется ей припоминать, гдѣ видѣла она своего неожиданнаго спутника.

Въ немъ нѣтъ ничего особеннаго, что выдѣляло бы его изъ числа многихъ знаемыхъ,—обычная городская одежда, интеллигентное лицо. Только глубокій взоръ черныхъ глазъ такъ пытливъ, что кажется Нинѣ,—въ самую глубину души ея смотритъ онъ. И сердце ея горитъ.

Тихо спрашиваетъ онъ Нину:

— О чемъ вы такъ задумались? Отчего вы такъ печальны?

И говоритъ ему Нина:

— Что же васъ удивляетъ моя печаль! Неужели вы не знаете, что происходитъ у насъ въ эти годы?

Онъ спрашиваетъ:

— Что же происходитъ?

Говоритъ ему Нина долго, и жалуется, и плачетъ. Точно съ собою говоритъ. Глаза ея смотрятъ въ израненную красными огнями тьму шумныхъ улицъ. Сердце ея трепещетъ и горитъ.

Когда Нина замолчала, онъ говоритъ ей тихо, но съ такою силою въ голосѣ, какъ имѣющій власть:

— Развѣ это не малодушіе? Такъ надлежитъ притти въ міръ нашей правдѣ, такъ,—въ страданіяхъ, нестерпимыхъ для слабаго, въ подвигахъ, превышающихъ мѣру человѣческихъ силъ. Или пріятнаго и легкаго вы ожидали, когда внимали словамъ наставниковъ и мудрецовъ вашихъ? И развѣ не научили они васъ той истинѣ, что нѣтъ силы на землѣ, которая могла бы отвратить роковой ходъ событій, предсказанный въ мудрыхъ книгахъ?

И говорилъ, цитируя слова мудрыхъ книгъ, и поясняя ихъ. И сердце ея горѣло въ ней.

Несмѣло спросила она:

— А онъ? женихъ мой возлюбленный, котораго казнили? Гдѣ онъ?

И услышала кроткій голосъ:

— Онъ съ тобою.

Подняла удивленный взоръ на своего спутника, и услышала опять:

— Я съ тобою всегда, невѣста моя милая,—утѣшься! Или ты меня не узнала,—меня, приходящаго въ тайнѣ?

Радостно взволнованная, спросила Нина:

— Но кто же ты?

И уже не было никого возлѣ Нины. Въ суетливой толпѣ, въ смутной и тревожной полутьмѣ шумныхъ улицъ исчезъ ея спутникъ. Только студентъ съ черною коротенькою бородкою оглянулся, усмѣхаясь, на Нину, услышавъ ея вос-

торженное восклицаніе, и прошелъ равнодушно, попыхивая папироскою.

Но въ сердцѣ у Нины была радость, и черные глаза ея горѣли восторгомъ. Онъ съ нею, онъ всегда съ нею. Въ ея сердцѣ, въ ея мысляхъ, въ ея поступкахъ, вездѣ онъ, возлюбленный ея, съ нею! Не надо бояться и унывать, надо вѣрить и дѣлать то, что и онъ дѣлаетъ, любить то же, что и онъ любилъ,—съ нимъ дѣлить печали пораженій и радости побѣдъ. Съ нимъ, всегда съ нимъ!

VI.

Нина возвращалась домой, подъ веселый звонъ колоколовъ пасхальныхъ, и вся пламенѣла восторгомъ, и плакала отъ счастія и отъ сладостной печали. И свѣтлымъ праздничнымъ огнямъ, и вѣтру, вѣющему вешними утѣхами, шептала счастливыя, безумныя шептала слова:

— О, я счастливая! И я была на пути въ мой Еммаусъ, и на моемъ омраченномъ пути со мною бесѣдовалъ онъ, пришедшій ко мнѣ въ тишинѣ и въ тайнѣ, и въ моемъ Еммаусѣ я, счастливая, счастливая невѣста, обрѣла его!

СТАРЫЙ ДОМЪ.

Памяти Михаила Чеботаревскаго.

Памяти Михаила Чеботаревскаго.

I.

Домъ былъ старый, большой, деревянный, одноэтажный, съ мезаниномъ. Стоялъ онъ въ деревнѣ, въ одиннадцати верстахъ отъ станціи желѣзной дороги, и въ полусотнѣ верстъ отъ уѣзднаго города. Вокругъ этого дома дремотно-зеленѣющій садъ раскинулся, и просторы безконечно-плоскихъ, нескончаемо-скучныхъ полей.

Когда-то этотъ домъ былъ выкрашенъ въ лиловый цвѣтъ, и уже давно полинялъ. Его крыша, когда-то красная, стала темно-бурою. Но столбы террасы были еще совсѣмъ крѣпки, и бесѣдки въ саду цѣлы, и Афродита въ кустахъ. А прудъ ряскою затянуло.

Казалось, что старый домъ полонъ воспоминаніями: стоитъ, дремлетъ, вспоминаетъ, опечалится порою, когда грустныя нахлынутъ вдругъ вереницы воспоминаній.

Въ этомъ старомъ домѣ все было попрежнему, какъ въ тѣ дни, когда вся семья была лѣтомъ вмѣстѣ, когда еще Боря былъ живъ.

Теперь въ усадьбѣ жили только женщины: бабушка Борина, Елена Кирилловна Водоленская,—Борина мать, Софья Александровна Озорева,—и Борина сестра, Наталья Васильевна. И старуха-бабушка, и мать, и молоденькая дѣвушка казались очень спокойными, порою веселыми. Жили

онѣ уже второй годъ въ старомъ домѣ, и ждали младшаго въ семьѣ, Бориса. Того самаго Бориса, котораго уже нѣтъ въ живыхъ.

Онѣ почти не говорили о немъ другъ съ другомъ, но мыслями, воспоминаніями, мечтами о немъ наполнены были ихъ дни. Порою въ ровную ткань этихъ думъ и грезъ вплетались черныя нити печали, и падали тяжелыя, горькія зерна слезъ.

Когда злое солнце стояло въ притинѣ,—когда грустная луна ворожила,—когда заря холодомъ по-утру розовымъ вѣяла,—когда на закатѣ заря смѣхомъ кровавымъ полыхала,—въ четыре темпа былъ размахъ качелей отъ заревой радости къ притинной высокой печали. На тѣхъ качеляхъ стремительно качаясь, онѣ всѣ трое переживали попеременно симпатію и антипатію предметовъ и временъ.

Заревая радость,—разъ,—яркая дневная печаль,—два,—заревая радость,—три,—бѣлая ночная тоска,—четыре! Качели, подвѣшенныя высоко, выше, выше тѣхъ качелей, на которыхъ качался, кончался онъ.

II.

По зарѣ блѣдно-розовой, когда влажныя никнутъ вѣтки на березкахъ, весело-зеленыхъ, стройно-бѣлыхъ, въ саду передъ окнами, за песочною площадкою, за круглою куртиною,—по зарѣ блѣдно-розовой, когда съ рѣчки отъ купаленьки повѣетъ прохладою,—первая изъ трехъ просыпается Наташа.

Какъ весело проснуться на зарѣ блѣдно-розовой! Откинуть пологъ, кисейно-легкій, сквозной,—на локотокъ опереться, повернуться на бокъ,—и глянуть въ окошко черными, широкими, жуткими глазами.

За окошкомъ небо видно, низкое надъ далекими бѣлыми березками. На небѣ заря блѣдно-алая, веселая, горитъ матовымъ огнемъ сквозь транспарантъ простертаго надъ землею покрова. Въ ея тихомъ, блѣдно-радостномъ разгораніи

есть такое напряженіе юныхъ страстей и полусознанныхъ желаній, такое напряженіе, такое счастіе, и такая печаль! Улыбчивая сквозь росу легкихъ, утреннихъ слезъ надъ бѣлыми ландышами, надъ синими фіалками широкихъ полей!

Да о чемъ же слезы! Къ чему же ночная тоска!

Вотъ, за окномъ привѣшенная, качается вѣтка отгоняющаго всякое зло аира. Повѣсила ее бабушка, и няня снимать не велитъ, старая. Зеленѣя, качается вѣтка аира, улыбается сухою зеленою улыбкою.

Улыбается Наташа тихою розовою улыбкою.

Земля просыпается въ утренней свѣжей бодрости. Доносятся до Наташи голоса пробудившейся жизни. Вотъ, гомозясь въ упруго-влажныхъ вѣткахъ, чирикаютъ шумливо проворныя птицы. Вотъ за окномъ слышенъ издалека переливно-долгій звукъ рожка. Вотъ близко-близко, по песочной дорожкѣ подъ окошкомъ звуки чьихъ-то тяжело и твердо ступающихъ ногъ. Слышно веселое ржаніе жеребенка, и протяжное мычаніе недовольныхъ чѣмъ-то коровъ.

III.

Наташа встаетъ, улыбается чему-то, подходитъ поспѣшно къ окну. Ея „окно высоко надъ землею“, въ мезанинѣ, широкое въ три просвѣта. Наташа не задергиваетъ его на ночь занавѣсками, чтобы не застить отъ засыпающихъ глазъ прохладнаго мерцанія звѣздъ и ворожащаго лика луны.

Весело Наташѣ открыть окно, распахнуть его сильною рукою. Въ горящее сномъ лицо нѣжная вѣетъ отъ рѣчки утренняя прохлада. За березками сада, и за его кустарниками видны широкія поля, такія милыя съ дѣтства. На поляхъ пологіе пригорки, полосатыя пашни, зеленыя рощицы, отдѣльные кустики.

Вьется рѣчка прихотливо-брошенными на зеленое извивами. Еще колышутся надъ нею бѣлые клочки изорванной къ утру туманной фаты. Рѣчка видна кое-гдѣ, а чаще за-

крыта изгибами невысокаго берега, но далеко-далеко означила она свой извилистый путь купами вербъ, темно зеленыхъ на свѣтло-зеленой травѣ.

Наташа проворно умылась,—и было пріятно лить на плечи и на шею холодную воду. Потомъ по-дѣтски прилежно молилась, ставши на колѣни передъ темнымъ въ сумрачномъ углу образомъ, не на коврикъ, а прямо на полъ,—такъ угоднѣе Богу.

Повторила ежедневную свою молитву:

— Господи, сотвори чудо!

И приникла лицомъ къ полу.

Встала. Потомъ проворно надѣла легкое свѣтленькое платьице съ широкими лямками на плечахъ, съ прямоугольнымъ вырѣзомъ на груди, и кожаный поясъ, перетянутый сзади широкою пряжкою. Наскоро заплела и сложила кое-какъ вокругъ головы тяжелыя черныя косы. Съ размаху всунула въ нихъ роговыя гребенки и шпильки, какія нашлись подъ руками. Набросила на плечи сѣрый вязаный платокъ, такой пріятно-мягкій, и торопилась выйти на террасу стараго дома.

Ступеньки неширокой внутренней лѣстницы изъ мезанина внизъ тихо скрипѣли подъ легкими Наташиными ногами. Жесткое ощущеніе досчатаго холоднаго пола подъ теплыми ногами было забавно-веселымъ.

Когда Наташа спустилась внизъ и шла по коридору и по столовой, она ступала тихохонько, чтобы ни мать, ни бабушка не слышали, и не проснулись бы, и не встали. И на лицѣ было милое выраженіе веселой озабоченности, и складка межъ бровей. Какъ сложилась въ тѣ дни, такъ и осталась складочка.

Еще задернуты были занавѣски въ столовой. Комната казалась сумрачною и печальною. Скорѣе хотѣлось пробѣжать по ней, мимо широко-раздвинутаго стола. Не было охоты остановиться у буфета, что-нибудь взять, съѣсть.

Скорѣе, скорѣе! На волю, на воздухъ, къ улыбкамъ беззаботной зари, позабывшей всѣ свои докучныя вчера.

IV.

На террасѣ было свѣтло, свѣжо. Свѣтлая Наташина одежда вдругъ загоралась блѣдно-розовыми заревыми улыбками. Веселый холодокъ набѣгалъ изъ сада. Ласкаясь, лобзалъ онъ Наташины ноги.

Опершись розовыми, тонкими локтями обнаженныхъ рукъ о широкій парапетъ террасы, Наташа садилась на легкій плетеный стулъ. Она принималась смотрѣть въ ту сторону, гдѣ виднѣлась изъ-за кустовъ калитка въ садовой изгороди, и за нею часть сѣрой дороги, безмолвной, но, по зарѣ блѣдно-розовой, такой счастливо-успокоенной.

Наташа смотрѣла долго, пристально, немигающимъ, жуткимъ взоромъ черныхъ глазъ. Какая-то жилка дрожала въ лѣвомъ углу рта. Едва замѣтно вздрагивало лѣвое вѣко. Все опредѣленнѣе намѣчалась рѣзкая вертикальная складочка между глазъ. Подобно напряженію трепетно и ало полыхающей зари было напряженное вниманіе слишкомъ пристальныхъ, слишкомъ неподвижныхъ глазъ.

Если бы всмотрѣться долго въ сидящую такъ на зарѣ утренней Наташу, то показалось бы, что не видитъ она того, на что смотритъ, и что на что-то иное, что не здѣсь, устремленъ ея слишкомъ далекій взоръ.

Словно хочетъ увидѣть того, кого нѣтъ,—того, кого ждетъ,—того, кто придетъ,—придетъ сегодня. Если свершится чудо. А какъ же безъ чуда!

V.

А передъ Наташею сѣрая и докучная влеклась повседневная обычность. Предметы все тѣ же, все на тѣхъ же мѣстахъ. И тѣ же, какъ вчера, какъ завтра, какъ всегда, люди. Вѣчные приснолюди.

Стремительно и тупо шелъ мужикъ, гулко стуча о глину дороги подкованными подошвами тяжелыхъ сапогъ. Верткая баба проходила, мягко шурша по росистой травѣ придо-

рожной мельканіемъ высоко-пріоткрытыхъ загорѣлыхъ ногъ. Пугливо озираясь на старый домъ, пробѣгали темныя отъ загара, милыя, чумазыя, бѣлоголовыя ребятишки.

Мимо, да мимо. Никто не останавливался у калитки. Никто и не видѣлъ молодой дѣвушки изъ-за точенаго столбика террасы.

Шиповникъ цвѣлъ у ограды. Онъ ронялъ первые блѣдно-розовые лепестки на розоватую желтизну песочной дорожки, лепестки, райски-невинные и въ самомъ паденіи своемъ.

Въ саду благоухали сладко, страстно и наивно розы. У самой террасы возносили онѣ къ озареніямъ съ неба свои напряженно-алыя улыбки, ароматную нестыдливость своихъ мечтаній и желаній, невинныхъ, какъ все было невинно въ первозданномъ раю, невинныхъ, какъ невинны на землѣ только благоуханія розъ.

На куртинѣ пестрымъ ковромъ раскинулись бѣлые табаки и алые маки. За куртиною въ зелени бѣлѣлъ мраморъ Афродиты, какъ вѣчное пророчество красоты, среди зеленой, влажной, благоуханной, звучной жизни этого мгновеннаго дня.

Тихо сама себѣ сказала Наташа:

— Онъ, должно быть, перемѣнился очень. И не узнаешь, поди, какъ вернется.

Тихо, сама себѣ отвѣчая, сказала Наташа:

— Но я бы его узнала сразу по голосу и по глазамъ.

И точно, вслушиваясь, услышала его голосъ, звучный, глубокій. И точно, всматриваясь, увидѣла его черные глаза,— пламенный, властный, юношески-дерзкій взоръ. И еще вслушивалась во что-то, всматривалась въ далекое. Слегка пригнулась, склонила къ чему-то тихому чуткое ухо, неподвижный и жуткій приковала къ чему-то взоръ. Словно застыла въ напряженіи, нѣсколько дикомъ.

Розовая улыбка разгорающейся зари несмѣло играла на поблѣднѣвшемъ Наташиномъ лицѣ.

VI.

Кто-то крикнулъ вдали, длинно и гулко.

Наташа вздрогнула. Встрепенулась. Вздохнула. Встала. По шаткимъ, широкимъ ступенькамъ спустилась въ садъ, на песчаную площадку. Хрустѣли песчинки подъ ногами. Легкіе, тонкіе на мелкомъ сѣромъ пескѣ отпечатывались слѣды узкихъ маленькихъ ногъ.

Наташа подошла къ бѣлому мрамору.

Долго всматривалась она въ безмятежно-прекрасное лицо богини, все еще далекой отъ нашей скучной, чахлой жизни, и въ ея вѣчно-юное тѣло, нестыдливо обнаженное, неложную сулящее радость освобожденія. Розы алѣли у строгаго пьедестала. Онѣ примѣшивали очарованіе своихъ недолгихъ алыхъ благоуханій къ очарованію вѣчной красоты.

Тихо, тихо сказала Афродитѣ Наташа:

— Если онъ придетъ сегодня, я вложу въ петлицу его тужурки самую алую, самую милую розу. Онъ смуглый, и глаза у него черные,—о, самую алую изъ твоихъ розъ!

Улыбалась вѣчная, придерживая дивными руками края ниспадающаго на колѣни тихими складками покрова, и говорила беззвучно, но внятно:

— Да.

Вѣчное да всякому сказыванію жизни, улыбка вѣчной ироніи, улыбка прекраснѣйшей изъ богинь, и самой страшной изъ нихъ.

И опять сказала Наташа:

— И сплету себѣ вѣнокъ изъ алыхъ розъ, и косы распущу, мои черныя, мои длинныя косы, и вѣнокъ надѣну, и буду плясать, и кружиться, и смѣяться, и пѣть. Чтобы утѣшить его, чтобы обрадовать его.

И опять говорила ей вѣчная:

— Да.

Сказала Наташа:

— Ты его помнишь. Ты его узнаешь. Вы, боги, все по-

мните. Только мы, люди, забываемъ. Чтобы разрушать и творить,—себя и васъ.

И въ молчаніи бѣлаго мрамора вѣчное, внятное было да. Отвѣтъ, всегда утѣшающій. Да.

Вздохнула Наташа, и отъ мрамора отвела глаза.

Заря разгоралась, и весь радостный садъ улыбался переливами заревого, вѣчно-юнаго, вѣчно-торжественнаго смѣха.

VII.

Потомъ Наташа тихо шла къ садовой калиткѣ. Тамъ она опять долго смотрѣла на дорогу. Такъ напряженно держалась она за верхъ калитки, точно готовая вотъ-вотъ распахнуть ее передъ тѣмъ, кто придетъ, передъ тѣмъ, кого ждутъ.

Вздымая сѣрую дорожную пыль, предразсвѣтный влажный вѣтеръ тихо вѣялъ въ Наташино лицо, и шепталъ ей въ уши что-то настойчивое, злое, вѣщее. Точно завидовалъ ея ожиданію, ея напряженному покою.

Вѣтеръ, всюду вѣющій, ты все знаешь, ты хочешь, ты встаешь и падаешь, и влечешься въ нескончаемыя дали. Печалью и радостью вѣя, влечешься ты къ недостигаемымъ далямъ.

Вѣтеръ, всюду вѣющій, залеталъ ли ты въ тѣ страны, гдѣ онъ? Вѣсточку отъ него принесъ ли? принесешь-ли?

Хоть бы вздохъ одинъ принесъ ты отъ него или къ нему, хоть бы легкій, блѣдный призракъ слова!

Отъ передразсвѣтнаго вѣтра краснѣетъ лицо, глаза краснѣютъ, румяныя губы морщатся, на черныхъ глазахъ слезы выступаютъ, и гнется тонкій станъ,—оттого, что вѣетъ вѣтеръ, прохладный, пустынный, безучастный, мудрый вѣтеръ. Вѣетъ, какъ вѣяніе невозвратнаго, быстролетнаго времени. Вѣетъ, жалитъ, печалитъ, и не жалѣетъ, и уносится прочь.

Уносится прочь, и безсильная падаетъ сѣровато-розо-

вая по зарѣ, но все же тусклая, блѣдная дорожная пыль. Спутала всѣ свои слѣды, забыла прошедшихъ надъ нею,— и лежитъ, по зарѣ слабо-розовѣя.

Ноетъ сердце отъ сладкой печали ожиданія.

Говоритъ кто-то близкій, тихо говоритъ на ухо Наташѣ:

— Онъ пріѣдетъ. Онъ на дорогѣ. Встрѣтила бы.

VIII.

Наташа открыла калитку, и быстро пошла по дорогѣ, въ ту сторону, гдѣ, за одиннадцать верстъ отъ стараго дома, стоитъ желѣзнодорожная станція. Дойдетъ Наташа до пригорка надъ рѣкою, за полторы версты отъ дома, остановится, и будетъ смотрѣть.

Съ этого пригорка видна вся дорога. Откуда-то снизу, съ поля, слышенъ рѣзкій крикъ кулика. Пряно и влажно пахнетъ трава.

Восходитъ солнце. Вдругъ все становится бѣлымъ, яркимъ, яснымъ. Радостная смѣется широкая даль. Утренній вѣтеръ на пригоркѣ сильнѣе, крѣпче и слаще. Кажется, что забылъ онъ пустынную свою грусть.

Трава такая мокрая отъ росы. Такъ нѣжно приникаетъ она къ ногамъ. По ней яркія, многоцвѣтныя переливаются разсыпанными алмазами слезинки росы.

Красное солнце съ торжественною медленностью поднимается надъ синею мглою горизонта. Въ красномъ, яркомъ горѣніи солнца затаилось предчувствіе тихой грусти.

Наташа опускаетъ взоръ къ орошеннымъ травамъ. Цвѣточки милые! Узнаетъ Наташа цвѣтокъ вѣрности, лазоревый барвинокъ.

Но что это! Тутъ же, близко, напоминаніемъ о смерти, черная бѣлена. Ну что же! Онъ вездѣ. Утѣшайте, утѣшайте, лазоревые цвѣточки!

— Ни одного изъ васъ не сорву. и не изъ васъ, лазоревые, вѣнокъ сплету.

Ждетъ, стоитъ, смотритъ.

Показался бы по дорогѣ, увидѣла бы, узнала бы его еще издали. Но нѣтъ,—никого нѣтъ. Дорога пустынна, и нѣмы влажные просторы.

IX.

Постояла Наташа, подождала, пошла назадъ. Ноги ея тонули въ мокрыхъ травахъ. Стебли высокихъ травъ путались около тонкихъ ногъ, и шуршали, зеленые, о край свѣтлаго платья. Наташины руки были опущены, покорныя, прикрытыя сѣрымъ вязанымъ платкомъ, стройныя съ розовыми локтями руки. А глаза уже утратили напряженность выраженія, и перебѣгали разсѣянные взгляды съ предмета на предметъ.

Сколько разъ ходили по этой дорогѣ, всѣ вмѣстѣ, и сестренки, и Боря! Было весело и шумно. О чемъ ни говорили! Какъ спорили! Какіе гордые гимны пѣли! Теперь одна, и Боря все не возвращается.

Не знаетъ, что его ждутъ. Не знаетъ, какъ его ждутъ. Ничего не знаетъ. И не узнаетъ?

Въ Наташиномъ сердцѣ просыпается предчувствіе горькихъ воспоминаній. Въ темнотѣ усталой памяти уже съ тяжелымъ шорохомъ шевелится злая змѣя.

Медленно и скучно Наташа возвращается домой. Глаза ея дремотны, и блуждаютъ тоскливо, и никнутъ утомленные взоры. Трава кажется ей непріятно-сырою, вѣтеръ надоѣдливымъ, ногамъ ея мокро, и край тонкаго платья отяжелѣлъ отъ сырости. Новый свѣтъ новаго дня, ярко-солнечнаго, сіяющаго переливами смѣющихся росъ, птичьихъ гамовъ и людскихъ голосовъ, для Наташи по-старому назойливо ярокъ.

Ахъ, не всходить бы новому дню! Не звать бы къ недостижимому!

Все слышнѣе робкій шопотъ безпощадныхъ воспоминаній. Тяжелый грузъ неодолимой тоски наваливается аспидно-сѣрою горою на сердце. Гордо сжимается томительно-жесткимъ предчувствіемъ слезъ.

Чѣмъ ближе къ дому, тѣмъ торопливѣе становится Наташинъ шагъ. Все скорѣе, скорѣе, подъ ускоряющійся стукъ тоскующаго сердца бѣжитъ Наташа по сухимъ глинамъ дороги, по мокрымъ травамъ придорожной, протоптанной пѣшеходами, тропинки, по влажно-хрупкимъ песчинкамъ садовыхъ дорожекъ, еще хранящимъ ея предразсвѣтные, нѣжные слѣдочки. Бѣжитъ Наташа по теплымъ доскамъ еще неметенаго пола, съ пылью и соринками. И уже не старается ступать легко и неслышно. Наталкивается на удивленную, зѣвающую Глашу. Взбѣгаетъ стремительно и шумно наверхъ, къ себѣ, и бросается въ постель. Съ головою укутывается въ одѣяло. Засыпаетъ.

X.

Борина бабушка, Елена Кирилловна, спитъ внизу. Она старая, и не спится ей утромъ; но за всю жизнь она никогда не вставала рано, а потому и теперь просыпается только немного позже, чѣмъ Наташа. Долго лежитъ Елена Кирилловна, прямая, худенькая, неподвижная, словно влипнувъ затылкомъ въ подушки и ждетъ, когда придетъ горничная съ чашкою кофе,—она издавна привыкла пить кофе въ постели.

У Елены Кирилловны худое, желтое лицо, все въ разбѣгающихся морщинкахъ, а глаза еще блестящіе, и волосы еще черные, особенно днемъ, когда уже она ихъ смажетъ чернымъ фиксатуаромъ.

Горничная Глаша обыкновенно запаздываетъ. Утромъ ей сладко спится: съ вечера она любитъ уходить къ деревнѣ на мостъ. Тамъ скрипитъ гармоника, и по праздникамъ поютъ и пляшутъ, бываютъ веселые молодые люди и бойкія дѣвицы изъ деревни,—словомъ, весело.

Елена Кирилловна звонитъ нѣсколько разъ. Наконецъ, безотвѣтность тишины за дверью начинаетъ сердить ее. Она досадливо ворочается, ворчитъ. Напряженно сгибая въ локтѣ сухую, желтую руку, долго и съ усиліемъ нажи-

маетъ костлявымъ пальцемъ на бѣлую пуговку электрическаго звонка, лежащаго на кругломъ столикѣ возлѣ ея изголовья.

Тогда, наконецъ, Глаша слышитъ надъ собою продолжительный, дребезжащій звонъ. Она соскакиваетъ съ постели. Суетливо мечется по своей тѣсной каморкѣ подъ лѣстницею въ мезанинъ. Ищетъ что-то. Набрасываетъ на себя юбку. Бѣжитъ къ старой барынѣ, и на бѣгу кое-какъ оправляетъ разсыпающіяся космы перепутанныхъ волосъ.

Лицо у Глаши сердитое и сонное. Еще недоспанный сонъ шатаетъ ее. Пока она добѣжитъ до дверей барыниной спальни, утренняя прохлада немного освѣжаетъ ее. Когда Глаша входитъ къ барынѣ, у нея уже не такое смятое лицо.

На Глашѣ розовая юбка и бѣлая рубашка. Въ полусумракѣ занавѣшенныхъ оконъ ея загорѣлыя руки и стремительныя ноги кажутся тоже бѣлыми. Вся она, молодая, крѣпкая, грубая и внезапная, вдругъ вырастаетъ передъ постелью старой барыни, слегка всколыхнувъ тяжелою поступью барынину металлическую, грузную кровать съ никеллированными столбиками и шариками, и круглый столикъ, на которомъ слегка звякнетъ стаканъ о флаконъ.

XI.

Елена Кирилловна встрѣчаетъ Глашу все тѣмъ же изо дня въ день негодующимъ восклицаніемъ:

— Глаша, когда же мнѣ будетъ кофе? Я звоню, звоню, никто не идетъ. Ты, мать моя, спишь, какъ убитая.

Глаша дѣлаетъ притворно-удивленное и притворно-испуганное лицо. Поправляетъ, невольно позѣвывая, старенькій стертый коврикъ у кровати. Придвигаетъ мягкія, стоптанныя туфли. Говоритъ тѣмъ усиленно-ласковымъ, почтительнымъ тономъ, который такъ нравится въ прислугахъ старымъ барынямъ:

— Простите, барыня, сію минуту все будетъ. Господи, да какъ вы сегодня рано проснулись, барыня! Не поспалось вамъ, барыня, штой-то-ли?

Елена Кирилловна говоритъ:

— Въ мои годы ужъ какой сонъ! Дай ты мнѣ кофейку поскорѣе, Глашенька, да и вставать я ужъ стану.

Уже она говоритъ спокойно, хотя и звучатъ въ ея голосѣ капризныя ноты.

Глаша отвѣчаетъ усердно-радостнымъ голосомъ:

— Сію секундочку, барыня. Я живымъ духомъ.

И повертывается уходить.

Но Елена Кирилловна останавливаетъ ее гнѣвнымъ окрикомъ:

— Глаша, куда ты? Ничего не помнишь, сколько разъ ни говори! Занавѣски открой.

Глаша проворно отдергиваетъ темно-зеленыя занавѣски у двухъ оконъ въ барыниной спальнѣ, и вылетаетъ изъ комнаты. Она невысокая и тоненькая, и по ея лицу видно, что она читаетъ книжки, но звукъ ея быстрыхъ ногъ отчетливъ и тяжекъ, точно бѣжитъ кто-то большой, сильный, тяжелый, умѣющій дѣлать все, кромѣ легкаго. Барыня ворчитъ, сердито глядя за нею:

— Боже мой! какъ она топаетъ! Ни пола, ни пятокъ своихъ не жалѣетъ!

XII.

Но вотъ звуки Глашина бѣга затихаютъ въ гулкой тишинѣ длиннаго коридора. Барыня лежитъ, ждетъ и думаетъ. Она опять прямая, неподвижная, вся закрытая одѣяломъ, такая желтая и тихая. Кажется, что вся жизнь ея сосредоточилась въ яркомъ блескѣ зоркихъ глазъ.

Солнце, еще невысокое, неярко и розово освѣщаетъ стѣну передъ барыниными глазами. Свѣтло въ спальнѣ, и тихо. Пляшутъ въ воздухѣ быстрыя пылинки. Блестятъ стекла развѣшанныхъ на стѣнѣ фотографическихъ портретовъ и узкія золоченыя полоски ихъ черныхъ рамокъ.

Елена Кирилловна смотритъ на портреты. Ея по-моло-

дому блестящіе и все еще зоркіе глаза отчетливо различаютъ милыя лица. Многихъ уже нѣтъ на свѣтѣ.

Боринъ портретъ—большой, въ широкой темной рамѣ. Совсѣмъ еще юношеское лицо, лицо семнадцатилѣтняго мальчика. Смуглый. Черноглазый. На губѣ уже усики, довольно густые. Губы упрямо сжатые. Во всемъ складѣ лица выраженіе настойчивой воли.

Елена Кирилловна долго смотритъ на портретъ, и вспоминаетъ Борю. Изо всѣхъ своихъ внуковъ больше она любила его. И вотъ вспоминаетъ.

Она помнитъ, какой онъ былъ. Какимъ-то онъ теперь сталъ?

Вотъ Боря вернется. Бабушка обрадуется, насмотрится на него. Скоро ли?

Думаетъ успокоенно старая женщина:

„Теперь ужъ увидимся скоро".

Кто-то пробѣжалъ подъ окошкомъ. Чей-то послышался звонкій крикъ.

Елена Кирилловна повернулась на постели. Смотритъ въ окно.

Бѣлыя акаціи подъ окномъ, зелено и радостно шелестя, улыбаются по-дѣтски наивно и весело. За ними сплошная купа зеленолиственныхъ широкихъ кронъ, березки тѣснятся да липки. Вѣтки совсѣмъ близко тянутся къ окошку. Упругій ихъ шелестъ напоминаетъ что-то Еленѣ Кирилловнѣ.

Вотъ такъ бы крикнулъ подъ окошкомъ Боря. Онъ любилъ этотъ садъ. И любилъ бѣлые цвѣты акацій. И полевые любилъ цвѣточки собирать. И ей приносилъ. Особенно васильки ему всегда нравились.

XIII.

Наконецъ Глаша принесла кофе. Поставила на круглый столъ около кровати серебряный подносъ. Надъ фарфоровою широкою синею съ золотомъ чашкою дымится легкій паръ, слегка синеватый.

Елена Кирилловна подбирается всѣмъ своимъ худенькимъ тѣльцемъ повыше, къ подушкамъ, и усаживается въ постели, прямая, сухонькая, тоненькая, въ бѣлой ночной кофточкѣ. Суетливо поправляетъ дрожащими руками затянувшіяся за ночь завязки бѣлаго гофрированнаго чепчика.

Глаша заботливо и ловко подсовываетъ подъ ея спину подушки, сложивъ ихъ высокою, мягкою, такою уютною горкою.

Звенитъ хрупкимъ смѣхомъ серебряная ложечка въ сухихъ старухиныхъ рукахъ, размѣшивая въ чашкѣ сахаръ. Потомъ изъ маленькаго молочника льется густою струею молоко, и падаетъ слегка желтоватыми хлопьями тяжелая жирная пѣнка.

А Глаша, повертѣвшись еще немного въ сторонкѣ, поглядѣвшись украдкою, мимоходомъ, въ барынино зеркало, уходитъ.

Елена Кирилловна, не торопясь, принимается пить кофе. Она ломаетъ пополамъ сладкій, обсыпанный сахаромъ сухарикъ, бросаетъ половинку въ кофе, и долго держитъ его тамъ. Потомъ, уже когда онъ совсѣмъ размякнетъ и пропитается кофеемъ, она осторожно вынимаетъ его ложечкою.

Зубы у Елены Кирилловны еще совсѣмъ крѣпкіе. Она этимъ очень гордится, но все-таки въ послѣднее время она гораздо больше любитъ ѣсть то, что помягче. Она жуетъ измокшій сухарикъ. На ея лицѣ выражается удовольствіе. Маленькіе зоркіе глаза весело поблескиваютъ.

Когда кофе выпитъ, Елена Кирилловна ложится еще полежать. Дремлетъ съ полчаса, вытянувшись на спинѣ подъ одѣяломъ. Потомъ она опять звонитъ, и ждетъ.

XIV.

Приходитъ Глаша. Уже она причесалась, и надѣла розовую кофточку. Оттого она кажется еще болѣе тоненькою, чѣмъ первый разъ. Но такъ какъ теперь она вовсе не торопится, то шаги ея кажутся еще болѣе тяжелыми.

Глаша подходитъ къ барыниной кровати. Молча откидываетъ одѣяло. Помогаетъ Еленѣ Кирилловнѣ сѣсть на постели, ловко поддерживая ее подъ локоть. Потомъ, опустившись на колѣни, натягиваетъ ей на ноги длинные черные чулки, и надѣваетъ ей мягкія сѣренькія туфли.

Елена Кирилловна держится за Глашино плечо слабыми, вздрагивающими нервно и неровно руками. Она завидуетъ Глашиной молодости, силѣ и наивной простотѣ. Будируя втихомолку противъ своей барской, но все же несладкой судьбы, Елена Кирилловна думаетъ уныло, что охотно пожертвовала бы всѣмъ своимъ комфортомъ, и согласилась бы стать такою же, какъ и эта Глаша, простою дѣвушкою служанкою, съ грубою кожею на рукахъ и съ покраснѣвшими отъ утренней сырой свѣжести стопами необутыхъ ногъ, только бы ей молодость, веселость, беззаботность и счастье, доступное на землѣ нашей только неразумнымъ.

Брюзжитъ часто на судьбу старая,—а сама ни отъ одной барской привычечки не могла бы отказаться!

Глаша говоритъ:

— Готово, барыня.

Елена Кирилловна встаетъ. Говоритъ:

— Теперь капотъ мнѣ, Глаша.

Но Глаша уже и сама знаетъ, что надо подать. Надѣваетъ на Елену Кирилловну бѣлый фланелевый капотъ. Проворно застегиваетъ его.

Елена Кирилловна говоритъ:

— Ну, иди, Глашенька. Ужо я позвоню, если что понадобится.

XV.

Глаша уходитъ. Бѣжитъ на заднее крыльцо.

Тамъ она второй разъ моется изъ подвѣшанной къ столбикамъ крыльца на веревочкѣ глиняной кувыркалки,—давеча только наскоро ополоснула лицо и руки похолодѣвшею за ночь водою. Брызжетъ воду далеко на зеленую траву

двора, на лиловато-сѣрыя доски крыльца, и на свои ноги, порозовѣлыя отъ свѣжести ранней, утренней и отъ нѣжныхъ прикосновеній росистыхъ травъ на огородѣ. Смѣется сама съ собою,—такъ, оттого, что вокругъ нея свѣтло, не жарко, весело,—оттого, что она молодая, здоровая дѣвушка,—оттого, что утренняя свѣжесть бодрыми холодками пробѣгаетъ по всему крѣпкому, быстрому тѣлу,—оттого наконецъ, что недалеко отъ нея на деревнѣ живетъ бойкій, какъ она, красивый молодчикъ, который на нее заглядывается, и который ей нравится.

Правда, за него мать бранитъ ее,—молодой человѣкъ бѣденъ.

А Глашѣ-то что-жъ? Не даромъ сложилась поговорочка: „Пусть бы хлѣба ни куска, былъ бы парень безъ уска“.

Смѣется Глаша весело и звонко.

Изъ окна кухни Степанида кричитъ ей:

— Глашъ, а Глашъ! что ты ржешь?

Глаша смѣется, не отвѣчаетъ, и уходитъ.

Степанида высовываетъ изъ окна простодушное, румяное лицо. Спрашиваетъ:

— Чего й-то она?

Никто ей не отвѣчаетъ. Некому отвѣчать. На дворѣ пусто. Только гдѣ-то за сараями слышны лѣниво переговаривающіеся голоса работниковъ.

XVI.

Межъ тѣмъ Елена Кирилловна въ своей спальнѣ кряхтя опускается на колѣни передъ образомъ. Она молится долго. Добросовѣстно перечитываетъ всѣ молитвы, какія знаетъ. Сухія, малиноваго цвѣта губы шевелятся. На лицѣ строгое, сосредоточенное выраженіе. Всѣ морщинки тоже кажутся строгими, усталыми, равнодушными.

Молитвенныхъ словъ много. Всѣ они святы, воздушны, возвышенны или трогательны. Но то, о чемъ въ нихъ говорится, отъ частаго повторенія какъ-то словно закостенѣло,

стало обычнымъ и простымъ, только привычныя выжимаетъ на глаза слезинки старческаго умиленія, и не имѣетъ никакого отношенія къ тому тайному трепету невозможныхъ надеждъ, которымъ въ послѣднее время пронизано сердце старой женщины.

Уста ея прилежно шепчутъ все тѣ же каждый день мольбы о прощеніи грѣховъ вольныхъ и невольныхъ, сотворенныхъ словомъ, или дѣломъ, или помышленіемъ,— мольбы объ очищеніи душъ нашихъ отъ всякой скверны,— и опять слова о беззаконіяхъ нашихъ, о лукавыхъ нашихъ дѣяніяхъ, о нечестіи нечестивыхъ, о всеобщемъ нашемъ недостоинствѣ, о мірскихъ злыхъ вещахъ и о дьявольскомъ поспѣшеніи,—объ окаянной душѣ и окаянномъ тѣлѣ, и о страстной жизни,—все только объ этомъ всеобщемъ злѣ и объ этой всемірной порочности. Точно сложены эти молитвы для титановъ, созданныхъ переустроить вселенную, но изъ постыдной лѣности дѣлающихъ это важное дѣло спустя рукава.

И ни слова о своемъ, личномъ, задушевномъ.

Шепчутъ старыя, изсохшія уста о милосердіи, о щедротахъ, о человѣколюбіи, объ истинномъ свѣтѣ,—обо всѣхъ этихъ верховныхъ благахъ, изливаемыхъ извнѣ на все твореніе. И ни слова о чудѣ, жадно и трепетно чаемомъ.

Да и развѣ чудо не нарушило бы молимаго установленными словами заученныхъ изъ дѣтства молитвъ тихаго и безмолвнаго житія?

Да, воистину, подъемлетъ бунтъ всякій, кто дерзновенно молитъ о чудѣ.

Но вотъ и слова о находящихся въ темницахъ и въ заточеніяхъ, мольба объ ихъ освобожденіи, объ ихъ избавленіи.

Вотъ, наконецъ, это о Борѣ.

Свободу и избавленіе...

Но дальше, все дальше бѣжитъ молитвенная рѣчь, о чужихъ, о далекихъ, о всеобщемъ; только на мигъ, только слегка остановилась на своемъ, на родномъ, на чаемомъ.

Потомъ объ усопшихъ,—о тѣхъ, другихъ, давно оплакан-

ныхъ, почти позабытыхъ, оживающихъ въ словѣ только въ часы этихъ общихъ, по всему душевному міру быстро скользящихъ моленій.

Окончены молитвы. Елена Кирилловна съ минуту медлитъ. Словно еще что-то забыто необходимое.

Что же еще? Или это и все?

„Все",—говоритъ кто-то тихій, равнодушный и непреклонный.

Тогда Елена Кирилловна поднимается съ колѣнъ. Подходитъ къ окну. Душа ея спокойна и равнодушна. Молитва не оставила въ ней молитвеннаго настроенія, а только на краткое время вынула изъ утомленной души всякое конкретное, особенное, будничное переживаніе.

XVII.

Елена Кирилловна смотритъ въ окно. Она словно опять возвращается изъ какого-то темнаго, отвлеченнаго міра къ яркимъ, красочнымъ, многозвучнымъ впечатлѣніямъ грубой, веселой, немножко милой жизни.

На небѣ высоко, среди свѣтлой, свѣтлой синевы, медленно тая, плыли бѣлыя съ розовымъ легкія тучки. Казалось, что у нихъ сквозь холодныя, бѣлыя тѣла просвѣчиваетъ пламенная, алая, какъ раскаленный ярко уголь, душа, и, пламенѣя, сжигая бѣлыя тѣла тучъ, сгораетъ и сама, и таетъ, и тонетъ въ холодномъ, высокомъ, голубомъ. Солнце, еще невидное изъ-за лѣваго угла дома, уже обливало весь садъ теплою и радостною волною веселья, смѣха и свѣта, въ которой купались суетливыя стайки птицъ.

Елена Кирилловна думаетъ:

„Ну, что-жъ, одѣваться пора".

И звонитъ.

Скоро на звонокъ является Глаша. Елена Кирилловна одѣвается.

Наконецъ она готова. Бросаетъ на себя послѣдній взглядъ въ зеркало,—все ли въ порядкѣ.

Волосы у Елены Кирилловны причесаны тщательно волосокъ къ волоску, и слегка приглажены чернымъ фиксатуаромъ. Отъ этого они блестятъ и кажутся склеенными. При каждомъ движеніи Елены Кирилловны по нимъ противъ свѣта передвигается вправо и влѣво узкая серебристая ниточка,— свѣтовой рефлексъ на перегибѣ заглаженной прически. На лицѣ немножко, чуть-чуть, пудры.

Платье на Еленѣ Кирилловнѣ всегда какого-нибудь свѣтлаго цвѣта, если не совсѣмъ бѣлое, и самаго простого покроя. Мягкая, мелкая плойка широкаго воротника скрываетъ шею и подбородокъ. Туфли уже замѣнены легкими лѣтними башмаками безъ каблуковъ.

XVIII.

Елена Кирилловна выходитъ въ столовую. Смотритъ, какъ накрываютъ на столъ къ утреннему раннему завтраку. Всегда замѣтитъ какой-нибудь безпорядокъ. Тихо брюзжа, сама переставитъ съ мѣста на мѣсто что-нибудь на столѣ.

Потомъ она идетъ въ переднюю, пустую и просторную, съ запертою дверью на крыльцо передняго фасада. Проходитъ коридоромъ въ сѣни и на заднее крыльцо. Стоитъ на высокомъ крыльцѣ, щурится отъ солнца, и смотритъ, что дѣлается на дворѣ. Маленькая, совсѣмъ прямая, какъ молоденькая институтка, сухонькая, съ желтымъ морщинистымъ лицомъ, на которомъ изображается строгая хозяйственная внимательность,—стоитъ, смотритъ и молчитъ, никому здѣсь ни для чего ненужная. Никто не обращаетъ на нее никакого вниманія.

Елена Кирилловна говоритъ:

— Здравствуй, Степанида!

Степанида, дебелая румяная молодка въ ярко-красной юбкѣ, изъ подъ которой виденъ бѣлый подолъ рубахи и загорѣлыя толстыя ноги, возится на дворѣ у крыльца съ самоваромъ, и старательно раздуваетъ его. На ея головѣ зе-

леный платочекъ порядливо подтыканъ, закрывая сложенныя косы словно повойникомъ.

Пузатые бока самовара красно горятъ на солнцѣ. Надъ его напрасно изогнутою трубкою клубится въ мрѣющемъ воздухѣ синій дымъ, отъ котораго рѣзко, ѣдко и слащаво пахнетъ можжевельникомъ и смолою.

На привѣтъ старой барыни Степанида поворачиваетъ къ ней широкоскулое озабоченно-веселое лицо съ крохотными изюминками темнокарихъ глазъ, и пѣвучимъ, ласковымъ голосомъ протяжно говоритъ:

— Здравствуйте, матушка барыня, съ добрымъ утречкомъ васъ! Рано сегодня встать изволили, матушка барыня. Теплынь то какая стоитъ, милость то Божья!

Слова ея точно медовыя, и точно на эти медвяныя слова летитъ съ густымъ жужжаніемъ ранняя мохнатая пчела, золотясь трепетно въ прозрачномъ жидкомъ золотѣ утренняго еще не злого солнца. Но Степанида уже замолкла, и опять возится со своимъ самоваромъ,—и пчела разочарованно улетаетъ, медленно затихая за изгородью огорода.

Елена Кирилловна морщится отъ рѣзкаго смолистаго запаха, и говоритъ:

— Что это, какъ можжевельникомъ сильно пахнетъ! Ты бы, Степанида, отошла, а то у тебя голова закружится.

Степанида, не оборачиваясь, отвѣчаетъ лѣниво и равнодушно:

— Ништо, барыня. Мы привычны. Отъ него духъ легкій отъ можжевельника-то.

Сквозь синій, кудрявый дымъ можжевельника ея сладкій голосъ кажется приторнымъ, горькимъ. Въ горлѣ у Елены Кирилловны начинаетъ першить. Ея голова слегка томно кружится. Елена Кирилловна торопится уйти, и спускается съ крыльца, въ свой обычный утренній путь.

XIX.

Въ это время выбѣгаетъ за нею Глаша. Она преувели-

ченно-громко топочетъ по гулко-сбѣгающимъ ступенькамъ быстрымъ мельканіемъ крѣпкихъ ногъ, розовѣющихъ словно крылатыми стопами изъ-подъ взвѣваемой ея бѣгомъ розовой юбки, и звонко кричитъ озабоченно-радостнымъ голосомъ:

— Барыня, что-й-то вы пошли безъ ничего! Еще вамъ солнцемъ напечетъ. Вотъ извольте вашу шляпку.

Соломенная шляпа, желтая, съ темно-лиловою лентою, въ Глашиныхъ рукахъ мелькаетъ, какъ странная, порхающая низко птица.

Елена Кирилловна надѣваетъ шляпу, и говоритъ Глашѣ:

— Что ты растрепою бѣгаешь! Пріодѣлась бы,—знаешь, кого мы ждемъ.

Глаша молчитъ, и на ея лицѣ появляется жалостливое выраженіе. Она долго смотритъ за уходящею барынею, покачиваетъ головою, потомъ улыбается и идетъ домой.

Степанида громкимъ полушопотомъ спрашиваетъ ее:

— Что, все внучка ждетъ?

Глаша отвѣчаетъ жалостливо:

— Да ужъ и не говори! Просто смотрѣть то на нихъ жалость беретъ, столько времени изводятся.

А Елена Кирилловна идетъ по двору, въ огородъ, мимо службъ и людскихъ на скотный дворъ, и потомъ въ поле. Вдоль садовой ограды она выходитъ на дорогу.

Тамъ, недалеко отъ сада, подъ тѣнью старой развѣсистой липы стоитъ скамейка,—когда-то покрашенная въ зеленый цвѣтъ доска на двухъ столбикахъ. Отсюда видна дорога, и рѣчка, и садъ, и домъ.

Елена Кирилловна садится на скамейку. Смотритъ на дорогу. Сидитъ тихо, маленькая, худенькая, прямая. Ждетъ долго. Потомъ начинаетъ дремать.

Сквозь тонкую дрему порою улыбнется вдругъ милое смуглое лицо, и зоветъ тихонько родной голосъ:

— Бабуся!

Она встрепенется, откроетъ глаза. Нѣтъ никого. Но она ждетъ. Вѣритъ и ждетъ.

XX.

Воздухъ земной жизни легокъ. Дорога свѣтла и тиха. Вѣтеръ легкій и отрадный вѣетъ мимо, мимо. Солнце грѣетъ старыя кости, сквозь платье лаская худенькую спину. Все вокругъ ликуетъ въ зеленомъ, золотомъ и голубомъ. Листва березъ, ивъ и липъ медленно шелеститъ, зелено и влажно. Въ поляхъ медвяно пахнетъ клеверъ.

Ахъ, какъ легокъ, ахъ, какъ сладокъ воздухъ земной нашей жизни!

Какъ ты прекрасна, моя земля, изумрудная, сапфирная, золотая! Кто изъ рожденныхъ на тебѣ захотѣлъ бы умереть? захотѣлъ бы закрыть глаза на твои тихія прелести и на твои великолѣпные просторы? Кто изъ почивающихъ въ тебѣ, мать земля сырая, не захотѣлъ бы встать, не захотѣлъ бы вернуться къ твоимъ очарованіямъ и усладамъ?

И пламенѣющаго жаждою жизни кто, жестокій, прогонитъ въ смертную сѣнь?

По дорогѣ, гдѣ онъ ходилъ, онъ опять пройдетъ. По землѣ, еще его слѣды хранящей, онъ опять пройдетъ. Боря, милый бабушкинъ Боря вернется.

Вотъ, пролетая, пчела золотая жужжитъ. Говоритъ золотая, что Боря вернется въ тишину стараго дома, отвѣдаетъ душистаго меда,—сладкаго дара мудрыхъ пчелъ, жужжащихъ подъ солнцемъ земной, милой жизни. И пчелинаго яраго воска свѣчу затеплитъ бабушка радостно передъ иконою Приснодѣвы,—даръ мудрыхъ пчелъ, жужжащихъ въ золотѣ дневныхъ лучей,—даръ человѣку и даръ Богу.

Вотъ проходятъ по дорогѣ деревенскія женщины и дѣвушки съ обвѣтренными румяными лицами. Кланяются старой барынѣ, и жалостливо смотрятъ на нее. Елена Кирилловна улыбается имъ, и говоритъ привычно-ласковымъ голосомъ:

— Здравствуйте, милыя!

Онѣ проходятъ. Ихъ крикливые голоса замираютъ вдали. и забываетъ о нихъ Елена Кирилловна. Онѣ опять пройдутъ здѣсь еще сегодня, когда настанетъ ихъ часъ. Пройдутъ. Вернутся. По дорогѣ, гдѣ косно лежатъ ихъ пыльные, скучные слѣды, пройдутъ онѣ опять.

XXI.

Елена Кирилловна очнулась вдругъ отъ своей полудремы. Обвела недоумѣвающимъ взоромъ все, предстоящее здѣсь ей.

Все было ясно, свѣтло, беззаботно,—и безпощадно. Неуклонное, все выше поднималось на гору небесъ торжественное свѣтило. Уже видно было, что оно злое, мудрое. яркое, равнодушное къ земной тягостной печали и къ сладкимъ радостямъ земнымъ. И смѣхъ его высокъ, безрадостенъ и безпечаленъ.

Все, какъ и раньше, было зеленое, голубое и золотое. многотонно и ярко окрашено, словно для свѣтлаго праздника всѣ окрестъ предметы въ природѣ показали истинный цвѣтъ своей души. Но уже легкая пыль на безмолвной дорогѣ потеряла розовые заревые оттѣнки и вздымалась теперь по вѣтру сѣрою, скучною фатою. Когда же утихалъ вѣтеръ, и пыль никла не вдругъ, то словно сѣрая змѣя безглазая влеклась тучнымъ призрачнымъ чревомъ, и обезсилѣвъ падала, распластывалась и издыхала.

Скучною стала вся обычность. Эта липкая скука ясныхъ повтореній начинала томить Елену Кирилловну сѣрымъ предчувствіемъ тоски, горькихъ слезъ, отчаянныхъ моленій, безнадежности.

XXII.

Изъ калитки въ садъ показалась Глаша. Весело глянула она по дорогѣ въ обѣ стороны. Замедляя шаги, чинно подошла къ Еленѣ Кирилловнѣ.

Глаша теперь уже была обыкновенная, дневная, скучная. Уже нечему было въ ней завидовать. И уже одѣта она по-дневному. На головѣ у нея косы сложены, какъ у барышни, и заколоты тремя прозрачно-рыжими гребенками. Кофточка свѣтлая,—по бѣлому розовыя полоски и лиловые цвѣточки,—съ короткими рукавами до локтя. Прямая синяя юбка. Бѣлый передникъ.

Елена Кирилловна спросила:

— Ну, что, Глашенька? Сонюшка-то вышла?

Глаша отвѣтила почтительно:

— Софья Александровна встаютъ. Сейчасъ выйдутъ. Приказали спросить, можно на террасѣ накрывать?

— Да, да, на террасѣ. А что Наташенька?—спрашивала Елена Кирилловна, тревожно глядя на Глашу.

— Барышня спятъ,—отвѣчала Глаша.—Сегодня опять утромъ бѣгали гулять прямо съ постели, ничего даже не покушавши. Юбочка вся въ росѣ. Какъ бы не простудились. Теперь спятъ. Хоть бы вы имъ сказали.

Елена Кирилловна говоритъ неопредѣленно:

— Ну, ну. Пойду ужъ я. Иди себѣ, Глашенька.

Глаша уходитъ. Елена Кирилловна медленно поднимается со скамейки, точно жалѣя разстаться съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ въ легкой дремѣ пригрезился ей Боря. Медленно идетъ она къ дому.

Возлѣ калитки она останавливается, и еще смотритъ недолго на дорогу, въ ту сторону, гдѣ станція.

Телѣга гулко тарахтитъ по укатанной дорогѣ. Мужикъ еле держитъ вожжи, и покачивается сонно. Чалая лошаденка машетъ хвостомъ и головою. Бѣловолосый мальчуганъ, свѣсивъ съ края телѣги коричневыя ноженки въ широкихъ синихъ штанишкахъ, таращитъ васильковые свѣтлые глазенки на собаку. А собака, тощая, злая, бѣжитъ и хрипло лаетъ.

Елена Кирилловна вздыхаетъ,—Бори все еще нѣтъ,—и уходитъ въ садъ.

На террасѣ мелькаетъ свѣтлая Глашина кофточка. Зве-

нитъ посуда. Слышенъ ворчливый говоръ старой Бориной няньки.

XXIII.

Позже всѣхъ, когда уже солнце на небѣ высоко и грѣетъ жарко, просыпается Борина мать, Софья Александровна. Сквозь легкія свѣтлыя занавѣски, которыми задернуты у нея на ночь окна, уже яснымъ свѣтомъ облита вся ея спальня.

Софья Александровна просыпается вдругъ, точно разбуженная толчкомъ какимъ-то, или чьимъ-то зовомъ. Правою рукою она порывисто и сильно отбрасываетъ легкое бѣлое одѣяло. Быстро садится на постели, согнувши колѣни, и охватываетъ ихъ руками. Потомъ съ минуту смотритъ прямо передъ собою, въ какое-то пустое мѣсто среди легкаго узора свѣтло-зеленыхъ обоевъ.

Глаза у Софьи Александровны черные, широко открытые, съ черными пламенниками, затаившимися въ бездонной глубинѣ жуткаго взора. Лицо блѣдное, продолговатое, съ ровною матовою кожею, совсѣмъ свѣжее, почти безъ морщинъ. Губы ярко пылаютъ.

Софья Александровна смотритъ, словно пораженная какимъ-то ужаснымъ внезапнымъ видѣніемъ. Покачивается впередъ и назадъ.

Потомъ она порывисто, однимъ прыжкомъ, соскакиваетъ съ постели. Бѣжитъ къ умывальнику,—бѣлый мраморъ и красное дерево. Моется быстро, точно торопится куда-то. Бѣжитъ къ окну. Отдергиваетъ занавѣски. Смотритъ тревожно, какая погода, не ходятъ ли въ небѣ тучи, изъ которыхъ пойдетъ дождь, и тогда будетъ грязно по дорогѣ, гдѣ поѣдетъ, возвращаясь домой, Боря.

Небо тревожно-радостное. Березки шелестятъ хрупкимъ шелестомъ. Воробьи воровато и торопливо чирикаютъ. Все зелено, ярко, страстно, во всемъ дышетъ напряженіе надеждъ и ожиданій. Голоса слышны,—перекликаются звонко

Софья Александровна отрывисто говоритъ:

— Глаша, скорѣе, одѣваться!

И нетерпѣливо смотритъ, какъ Глаша освобождается отъ своей ноши.

Торопливо совершается обычный обрядъ. Софья Александровна одѣвается сама. Глаша только застегиваетъ ей башмаки и крючки платья сзади.

Скоро Софья Александровна совсѣмъ готова. Разсѣянно и коротко глядится она въ зеркало.

Ея блѣдное лицо кажется еще молодымъ и красивымъ. Она тонкая, какъ и ея мать, и невысокая. На ней бѣлое, узкое платье съ широкими, короткими рукавами. Прическа греческимъ узломъ, перетянута двойнымъ обхватомъ красной ленты. На маленькихъ, стройныхъ, съ высокимъ подъемомъ ногахъ цвѣтные шелковые чулки, бѣлые башмаки, на нихъ серебряныя пряжки.

XXV.

Софья Александровна быстро идетъ въ столовую. Тамъ на столѣ стоитъ бѣлый кувшинъ съ парнымъ молокомъ. Она сама наливаетъ себѣ стаканъ молока. Стоя выпиваетъ его, и съѣдаетъ кусочекъ чернаго хлѣба.

Въ то же время она заказываетъ обѣдъ. Все такія выбираетъ блюда, которыя любитъ Боря. Напоминаетъ, что Боря любитъ, чтобы вотъ это было сдѣлано такъ-то, и не любитъ вотъ того-то.

Степанида слушаетъ ее уныло, и плачущимъ голосомъ повторяетъ:

— Да ужъ знаю! Да ужъ что тамъ! Не первый разъ.

Что-то спрашиваетъ Глаша. О чемъ-то многословно толкуетъ дряхлая няня. Машинально, торопливо отвѣчаетъ имъ Софья Александровна. И кажется, что она прислушивается, не гремитъ ли дальній колокольчикъ, не стучатъ ли по дорогѣ колеса. Торопится уйти. И уже не слушаетъ, что еще ей говорятъ. Уходитъ.

Идетъ въ Боринъ кабинетъ. Тамъ все по-старому, и все прибрано. Когда Боря вернется, то найдетъ все на мѣстѣ.

Софья Александровна заботливо и торопливо обходитъ комнату. Она смотритъ, все-ли на мѣстѣ, стерта ли пыль, положенъ ли коврикъ передъ кроватью, налиты ли чернила въ чернильницу. Сама перемѣняетъ воду въ вазѣ съ васильками. Если что не въ порядкѣ, досадливо плачетъ, звонитъ, и горько упрекаетъ Глашу.

У Глаши тогда становится испуганное, жалостливое лицо. Она смиренно проситъ прощенія.

Софья Александровна выговариваетъ ей:

— Какъ это ты такъ, Глаша! Вѣдь ты знаешь, мы ждемъ его съ минуты на минуту. Вдругъ онъ войдетъ, и такой безпорядокъ.

Глаша говоритъ смиренно:

— Простите, барыня. Ужъ вы себя не разстраивайте, я живымъ духомъ.

Выходитъ, и роняетъ на бѣлый передникъ двѣ три слезинки жалости.

XXVI.

А Софья Александровна уже идетъ торопливо въ садъ. Ни на что не глядя, ни бѣлой Афродиты не видя, ни ея алыхъ розъ, идетъ въ ту бесѣдку, высоко надъ угломъ забора, изъ которой видна дорога. Надъ бесѣдкою кровелька въ четыре ската зеленѣетъ желѣзная, отъ солнца, а отъ любопытныхъ глазъ суровое полотно занавѣсокъ съ красною обшивочкою.

Софья Александровна смотритъ на дорогу жадными черными глазами. Ждетъ нетерпѣливо, прислушиваясь къ быстрому, неровному стуку сердца,—ждетъ, вотъ покажется Боря.

Вѣтеръ вѣетъ ей въ лицо, и задѣваетъ его краемъ занавѣски,—но лицо у нея блѣдное, и глаза у нея сухіе. Солнце жарко цѣлуетъ ея тонкія руки,—но онѣ лежатъ не-

подвижно на широкомъ лиловато-сѣромъ парапетѣ бесѣдки. Ярко, зелено и многоцвѣтно все въ поляхъ, —но ея глаза прикованы къ сѣрой пыльной змѣѣ, разлегшейся на просторѣ полей.

Если такъ ждутъ, неужели Боря не придетъ?

Но его нѣтъ. И напрасно пронзаютъ жадные взоры пустынный просторъ,—Бори нѣтъ.

Все напряженнѣе, все неотступнѣе прикованъ къ дорогѣ ея безумно-тоскующій взоръ,—но Бори нѣтъ.

Все только то же, что вчера, что всегда. Мирно, безмятежно,—безпощадно.

XXVII.

Былъ часъ перваго, ранняго завтрака. Сидѣли всѣ трое на террасѣ у накрытаго стола. Былъ поставленъ и четвертый приборъ, и стоялъ четвертый стулъ, на всякій случай,—можетъ быть, Боря подъѣдетъ къ завтраку.

Солнце было уже высоко. День становился зноенъ. Алыя розы у пьедестала богини благоухали все жарче. Еще яснѣе и безмятежнѣе улыбалась мраморно-бѣлая Афродита. вѣчнымъ движеніемъ роняя дивныя складки одежды. Въ яркомъ сверканіи солнца песокъ на дорожкахъ казался желтовато-бѣлымъ. Тѣни отъ деревьевъ были рѣзки и черны. Казалось, что отъ нихъ исходитъ земляной, сочный, теплый запахъ.

Женщины сидѣли такъ, что каждой изъ трехъ видна была за раскрытыми занавѣсками террасы и за кустами не широкой и не длинной аллеи садовая калитка и за нею часть дороги,—и видѣли онѣ всякаго прохожаго и проѣзжаго.

Но въ этотъ часъ дня почти никто не проходилъ и не проѣзжалъ мимо стараго дома.

За столомъ служа, Глаша надѣвала на круто-сложенныя косы свѣже-выглаженный чепчикъ съ подкрахмаленными бантами и съ плоеною сквозною оборочкою. Забавно мелькалъ

этотъ снѣжно-бѣлый чепчикъ надъ свѣжею загорѣлостью Глашина лица.

Въ саду подъ террасою на скамеечкѣ, на открытомъ мѣстѣ сидѣла старенькая Борина нянька, въ темно-лиловой кофточкѣ, черномъ платьѣ и темно-синемъ платкѣ. Она грѣла на жаркомъ солнцѣ старыя косточки, прислушивалась къ разговору на террасѣ, ворчала что-то, а то дремала.

Она ширококостая, полная. Лицо у нея круглое, пріятное, и даже сквозь мелкую сѣть морщинъ видно, что когда-то было красивое. Глаза еще ясные. Волосы сѣдые, гладко причесанные. На лицѣ и во всей фигурѣ застывшее выраженіе унылаго добродушія.

XXVIII.

Какъ всегда, ѣли и пили, и разговаривали весело и дружно. Иногда говорили сразу двое. Если бы послушать изъ сада, то казалось, что на террасѣ сидитъ большое общество.

Въ разговорѣ часто слышится Борино имя:

— Какъ бы не забыть, Боря любитъ...

— Можетъ быть, Боря привезетъ...

— Что-то Бори еще не видно...

— Я думаю, Боря пріѣдетъ съ вечернимъ...

— Надо спросить Борю, читалъ ли онъ...

— Можетъ быть, Боря это знаетъ...

А внизу подъ террасою старая нянька всякій разъ, какъ только услышитъ Борино имя, крестится и шепчетъ:

— Упокой, Господи, душу раба твоего Бориса.

Сначала шепчетъ тихо, потомъ все громче и громче.

Наконецъ сидящія за столомъ на террасѣ женщины слышатъ эти слова. Тогда онѣ вздрагиваютъ, и тревожно переглядываются. На ихъ лицахъ изображается смутный страхъ. Но онѣ сейчасъ же опять начинаютъ разговаривать еще громче, и смѣются еще веселѣе. Говорятъ безъ перерыва, и

за шумомъ ихъ голосовъ и смѣха не слышатъ пока няньки на бормотанія въ зеленѣющемъ весело саду.

Но упадутъ случайно голоса послѣ того, какъ названо милое имя,—и опять слышатся тихія, страшныя слова:

— Упокой, Господи...

За завтракомъ сидятъ долго, больше говорятъ, чѣмъ ѣдятъ. Тревожно посматриваютъ на калитку. Кажется, что имъ страшно встать изъ-за стола и куда-нибудь итти, пока нѣтъ еще съ ними Бори.

XXIX.

Къ концу завтрака приходитъ почта. За нею каждый день ѣздитъ на станцію четырнадцатилѣтній паренекъ Гриша верхомъ на гнѣдой, смирной лошадкѣ. Онъ бойко скачетъ мимо калитки, подымаетъ облака сѣрой пыли и отчаянно болтаетъ въ воздухѣ локтями. При этомъ его пыльныя ноги колотятся пятками въ бока его кобылки, а на ремнѣ черезъ плечо болтается черная сумка.

Гриша оставляетъ лошадку на дворѣ, а самъ съ кожаною сумкою идетъ черезъ садъ, и чему-то широко ухмыляется. Поднимаясь по ступенькамъ террасы, онъ объявляетъ громко и радостно:

— Почту привезъ!

Онъ веселый, загорѣлый, потный. Отъ него пахнетъ солнцемъ, землею, пылью и дегтемъ. Пясти рукъ и стопы ногъ у него крупныя, какъ у взрослаго. Губы мягкія и пухлыя, какъ у добродушнаго жеребенка. У косого ворота его рубахи не хватаетъ пуговокъ, видна сквозь воротъ полоска загорѣлой груди да сѣрый кусочекъ гайтана.

Софья Александровна порывисто поднимается со своего мѣста. Отбираетъ отъ Гриши сумку. Быстро опрокидываетъ ее на столъ. На бѣлую скатерть сыплется груда бандеролей. Всѣ три женщины склоняются надъ столомъ, и ищутъ писемъ. Но письма бываютъ рѣдко.

Наташа хмуро смотритъ на ухмыляющагося паренька. Спрашиваетъ:

— Писемъ нѣтъ, Гриша?

Гриша переступаетъ по ступенькѣ лѣстницы большими ногами, кирпично-красными отъ солнца, ухмыляется и отвѣчаетъ всегда одними и тѣми же словами:

— Письма еще пишутъ, барышня.

Софья Александровна говоритъ нетерпѣливо:

— Ну, иди, Гриша.

Гриша уходитъ. Женщины принимаются читать газеты.

Софья Александровна беретъ „Рѣчь". Читаетъ ее быстро. Часто говоритъ то, что остановило въ газетѣ ея вниманіе.

Наташа раскрываетъ „Слово". Читаетъ молча. медленно и внимательно.

Елена Кирилловна беретъ „Русскія Вѣдомости". Неспѣшно разрываетъ бандероль. Раскрываетъ на столѣ весь листъ. Читаетъ, быстро бѣгая глазами по строчкамъ.

XXX.

Няня, кряхтя, медленно поднимается по ступенькамъ. Софья Александровна отрывается на минуту отъ газеты и смотритъ на старуху испуганно. Наташа нервно вздрагиваетъ и отвертывается. Елена Кирилловна читаетъ спокойно не глядя на няньку.

Нянька вздыхаетъ, садится на скамейку у входа, и спрашиваетъ монотонно,—одинъ и тотъ же вопросъ каждый день:

— Казненныхъ-то нынче сколько пропечатано? Повѣшено-то сколько?

Софья Александровна роняетъ газету, вскакиваетъ и вся блѣдная, смотритъ на старую. Все ея тѣло дрожитъ мелкою дрожью. Елена Кирилловна складываетъ газету, отодвигаетъ ее, и смотритъ прямо передъ собою остановившимися глазами. Наташа встаетъ, повертывается внезапно-

поблѣднѣвшимъ лицомъ къ старухѣ, и говоритъ какимъ-то не своимъ, деревяннымъ голосомъ:

— Въ Екатеринославѣ—семь, въ Москвѣ—одинъ.

Или другіе города и другія цифры,—то, что принесли свѣжіе газетные листы. То, что они приносятъ намъ каждый день.

Нянька поднимается со скамейки, и крестится истово. Говоритъ:

— Упокой, Господи, души рабовъ твоихъ! И сотвори имъ вѣчную память!

Тогда Софья Александровна вскрикиваетъ отчаянно:

— Боря, Боря, Боря мой!

Лицо ея такъ блѣдно, что кажется, какъ будто-бы ни одной кровинки не осталось подъ матовою, эластичною кожею. Судорожнымъ движеніемъ сжимая руки, она съ ужасомъ смотритъ на Елену Кирилловну и на дочь. Елена Кирилловна отводитъ глаза въ сторону, и, глядя на старую няньку, качаетъ укоризненно головою. Голова ея трясется, какъ и у старенькой няньки. а на глазахъ проступаютъ, какъ раннія росинки вечеромъ, скупыя слезы.

Наташа упрямо смотритъ на мать, и говоритъ поблѣднѣвшими, трясущимися губами:

— Мама, успокойся.

Вдругъ голосъ ея опять становится холоднымъ и деревяннымъ,—и точно кто-то чужой и злой заставляетъ ее медленно, отчетливо произносить все тѣ же каждый день слова.

— Вѣдь ты же знаешь, мама, что Борю повѣсили еще въ прошломъ году!

Смотритъ на мать неподвижнымъ, жуткимъ взоромъ слишкомъ черныхъ глазъ, и повторяетъ:

— Ты же это знаешь, мама!

Глаза у Софьи Александровны широко открыты, сухи, въ нихъ ужасъ, и глубокіе пламенники въ ихъ слишкомъ черной глубинѣ горятъ безумно. Она повторяетъ беззвучно, глядя прямо въ Наташины глаза:

— Повѣсили!

Садится на свое мѣсто, смотритъ жуткими глазами на бѣлую Афродиту и на алыя розы у ея ногъ, и молчитъ. У нея бѣлое лицо и алыя губы, лицо неподвижное, и губы крѣпко сжатыя, въ немигающемъ взорѣ ея черныхъ глазъ затаилось безуміе.

Передъ изваяніемъ вѣчной красоты, передъ благоуханіемъ мгновенно-торжественныхъ розъ она каменѣетъ образомъ вѣчной скорби неутѣшной матери.

XXXI.

Елена Кирилловна тихо уходитъ по боковой узкой лѣсенкѣ въ садъ. Садится на дальнюю скамейку. Смотритъ на затяную зеленою ряскою гладь пруда, и плачетъ.

Наташа поднимается къ себѣ въ мезанинъ. Открываетъ книгу. Старается читать. Не читается Наташѣ. Она откладываетъ книгу, и смотритъ въ окно, и глаза ея мертвы.

Надъ старымъ домомъ все выше и выше поднимается безпощадно-ясный Драконъ. Радостнымъ смѣющимся кольцомъ веселаго простора замыкаетъ, какъ въ пламенный кругъ, омраченную тоскою тишину стараго дома. Мѣткіе мечетъ лучи, какъ острыя, оперенныя стрѣлы, и дрожитъ отъ вѣчнаго, неистощимаго гнѣва.

Въ старомъ домѣ тихо и тоскливо. Никого не ждутъ, никто не пріѣдетъ. Боря умеръ. Безпощадное колесо времени не знаетъ поворота назадъ.

Такъ ясно, такъ свѣтло свершается теченіе дня! Слитный бѣлый свѣтъ говоритъ, что не на что надѣяться.

XXXII.

Наташа сидитъ въ своей комнатѣ у открытаго окна. Книга лежитъ на подоконникѣ. Не хочется читать.

Каждая строка въ книгѣ напоминаетъ о немъ, о нескон-

чаемыхъ разговорахъ, о жаркихъ спорахъ. О томъ, что было. О томъ, чего нѣтъ.

Воспоминанія все ярче, и, наконецъ, достигаютъ ясности и полноты видѣнія, представшаго, чтобы очаровать душу.

Меркнетъ въ небѣ ярый Драконъ,—затмился свинцовою тучею. Меркнетъ и память о немъ. Кажется, что въ небѣ ходитъ холодная, ясная, безмятежно-тихая луна. Ликъ ея блѣденъ, но не отъ печали. Лучи ея чаруютъ заснувшую землю и недостижимо-высокое небо.

Лунныя чары въ поляхъ, въ отуманенныхъ долахъ. Матовымъ свѣтомъ мерцаютъ на спящихъ травахъ тихія, прохладныя росы.

Въ ихъ призрачномъ мерцаніи воскресаетъ то, что погибло,—былая нѣжность и любовь, бросающая на подвиги сверхъ мѣры человѣческихъ силъ. Къ устамъ опять восходятъ давно уже непѣтые, гордые гимны и обѣты подвига и вѣрности.

И что же изъ того, что подстерегаетъ подстрекающій злой взоръ, и съ пылкими рѣчами юности смѣшалась рѣчь предателя! Горѣніе любви дерзающей не угасятъ и воды холодныхъ океановъ, не отравятъ всѣ земныя лукавыя отравы.

Очарованный лунною тайною лѣсъ чутокъ, мглисто теменъ и молчаливъ. Непонятны и недоступны людямъ его медленныя, неуклонныя переживанія и тайна его скованныхъ желаній.

Въ его лунную тишину принесли люди буйство юной жизни, говора и смѣха,—но, очарованные лунною тайною, вдругъ примолкли и призадумались.

Полянка въ лѣсу, завороженная зеленымъ, холоднымъ лунным мерцаніемъ, кажется бѣлою. Обступившія полянку по краямъ тѣни деревьевъ такія невѣрныя, и мглистыя, и таинственно-тихія.

Луна медленно, словно крадучись, поднимается все выше по блѣдно-лазурному склону небесъ. Круглая, холодная, вся обернувшись въ тонкую пелену молочно-бѣлаго тумана,

она раздвигаетъ своимъ безстрастнымъ ликомъ туманно-тихія вершины заснувшихъ деревьевъ, и смотритъ на поляну немигающимъ любопытнымъ взоромъ бѣлыхъ глазъ.

Матовая розсыпь тихой росы на холодныхъ травахъ поляны таетъ,—выпиваетъ ее жадно бѣлый ночной туманъ. Воздухъ сладокъ и томенъ. На край полянки выступаетъ нѣсколько тоненькихъ, стройныхъ, бѣлоствольныхъ березокъ, сонно застывшихъ, невинныхъ, какъ дѣвственныя причастницы въ зеленыхъ съ бѣлымъ платьицахъ.

XXXIII.

Подъ тонкими березками на полянѣ расположились нѣсколько дѣвушекъ, юношей, подростковъ. Кто сидитъ на пенечкѣ срубленнаго дерева, на поваленномъ грозою стволѣ старой березы, кто улегся на разостланномъ по травѣ пальто, а кто къ стволику березки прислонился спиною. Мигаетъ одинокій, слабый огонекъ папироски и скоро гаснетъ.

Въ свѣтломъ, грезовомъ туманѣ все кажется бѣлымъ, призрачнымъ, сказочно-очаровательнымъ. И кажется, березки на полянѣ и луна на небѣ ждутъ чего-то.

Здѣсь Наташа. Подруга Наташина, московская курсистка, съ остренькою бѣленькою мордочкою хорошенькаго, веселенькаго звѣрька. Боря и его товарищъ,—два мальчика, оба худенькіе, и почему-то похожіе одинъ на другого, въ полотняныхъ курточкахъ, съ неживыми лицами Нестеровскихъ отроковъ, съ горящими кругами темныхъ глазъ.

И еще одинъ, высокій, плотный, въ темной блузѣ. Онъ смотритъ самоувѣренно, и кажется самымъ знающимъ, опытнымъ и бывалымъ.

Его обступили подростки и дѣвушки, и упрашиваютъ. Простодушно-радостные, нетерпѣливые звенятъ голоса:

— Спойте, спойте намъ Интернаціоналъ.

Боря, мальчикъ съ блѣднымъ, нахмуреннымъ лбомъ, съ изсиня-черными кругами около глазъ, смотритъ ему въ глаза, и упрашиваетъ усерднѣе всѣхъ.

Высокій, плечистый Михаилъ Львовичъ смотритъ исподлобья, и упрямо отказывается, не хочетъ пѣть.

— Не могу,—говоритъ онъ угрюмо.—Я сегодня что-то не въ голосѣ.

Боря и Наташа настаиваютъ.

Михаилъ Львовичъ машетъ рукою, и такъ же угрюмо говоритъ:

— Да ну, ужъ ладно.

Всѣ рады.

Михаилъ Львовичъ становится на колѣни. Надъ туманно-бѣлою поляною, надъ бѣлолицыми мальчиками, надъ бѣлымъ туманомъ поднимаются къ лунѣ, тихо въ небѣ ворожащей, слова гордаго, страстнаго гимна:

„Возстань, проклятьемъ заклейменный!"

Михаилъ Львовичъ поетъ. Глаза его упрямо смотрятъ въ землю, на холодныя травы, бѣлыя въ жуткомъ свѣтѣ полной, ясной луны. Точно онъ не хочетъ или не можетъ посмотрѣть прямо въ глаза этимъ дѣвочкамъ и мальчикамъ, въ эти довѣрчивые, чистые глаза.

А вокругъ него столпились,—такъ близко, близко къ нему приникли невинно-дышащія молодыя дѣвушки, мальчики стоятъ около него на травѣ на колѣняхъ, наивно смотрятъ ему прямо въ ротъ и тихонько подпѣваютъ. Растетъ, ширится гордая, отважная мелодія. Торжественнымъ пророчествомъ звучатъ вѣщія слова:

„Въ Интернасіоналѣ
Объединится родъ людской".

XXXIV.

Михаилъ Львовичъ допѣлъ до конца. Была минута молчанія. Потомъ растроганные, взволнованные голоса,—всѣ вмѣстѣ зазвучали, колыша влажную лѣсную тишину.

Ясные дѣвичьи глаза смотрятъ, не отрываясь, на угрюмо-склоненное лицо Михаила Львовича. Звонкій дѣвичій голосокъ молитъ настойчиво и нѣжно:

— Еще пропойте, пожалуйста, милый. Повторите еще разъ. Я запомню слова. Я хочу выучить ихъ наизусть.

Наташа подходитъ и говоритъ тихо:

— Мы всѣ выучимъ эти слова и будемъ пѣть ихъ каждый день, какъ молитву. Съ вѣрою будемъ пѣть.

Михаилъ Львовичъ, наконецъ, поднимаетъ глаза. Маленькіе, блестящіе, умные. Теперь они строго и пытливо уставились на вдругъ смутившуюся отъ этого змѣинаго взора Наташу.

Михаилъ Львовичъ говоритъ ей угрюмо:

— Ну, пѣть-то въ лѣсу, втихомолку, не большая нужна храбрость. Всякій сумѣетъ.

Наташа багряно вспыхиваетъ. Въ глазахъ ея зажигаются черные огни недѣтской рѣшительности. Она говоритъ слегка вздрагивающимъ голосомъ:

— Мы выучимъ слова, и споемъ ихъ тамъ, гдѣ это будетъ надо. Боже мой, да развѣ одни у насъ слова, только слова! Мы готовы на дѣло.

Боря повторяетъ за нею:

— Мы готовы. Мы исполнимъ все, что надо. И, если понадобится, умремъ.

Михаилъ Львовичъ говоритъ со спокойною увѣренностью:

— Ну, я знаю.

Въ глазахъ его, упрямо прикованныхъ къ землѣ, горитъ тусклый огонекъ.

XXXV.

Минута молчанія. И опять звенитъ тоненькій голосокъ. Говоритъ тоненькая, какъ березка, дѣвушка съ остренькимъ, веселенькимъ личикомъ:

— Боже мой! какая сила! какой паѳосъ!

Михаилъ Львовичъ неторопливо поворачиваетъ къ ней лицо. Угрюмо улыбается и молчитъ.

Дѣвушка заломила на колѣняхъ руки. Ея поза удивительно-красива. Лицо ея вдругъ становится значительнымъ,

дышитъ усердною мольбою и пламенною рѣшительностью. Она горячо восклицаетъ:

— Давайте пѣть всѣ хоромъ! Всѣ! Михаилъ Львовичъ насъ поучитъ. Правда, Михаилъ Львовичъ? Поучите?

Михаилъ Львовичъ съ угрюмою важностью соглашается:

— Ладно.

Онъ обводитъ тѣсный кругъ восторженныхъ дѣтей тусклымъ, тяжелымъ взоромъ. Онъ одинъ сидитъ спиною къ полянѣ и чарующей въ небѣ лунѣ. Его лицо кажется темнымъ, и оттого еще болѣе значительнымъ. Все, что исходитъ отъ него, носитъ теперь печать особой угрюмой торжественности.

А лица дѣтей въ лунномъ свѣтѣ бѣлы. Одежды ихъ лунно-свѣтлы. Голоса ихъ лунно-прозрачны. Въ ихъ простодушной довѣрчивости есть нѣчто обреченное.

Тоненькая дѣвушка, волнуясь, восклицаетъ:

— Ну, начинаемъ!

Михаилъ Львовичъ торжественнымъ, тяжелымъ движеніемъ поднимаетъ руку, и начинаетъ:

„Возстань, проклятьемъ заклейменный!“

Дѣвушки и мальчики благоговѣйно поютъ, сливая свои звонкіе, чистые голоса съ гудящимъ низко голосомъ Михаила Львовича. Жаркимъ восторгомъ возстанія и освобожденія пылаютъ ихъ юные голоса. Выше, выше, выше бѣлыхъ тумановъ и темнаго лѣса, къ облакамъ серебристымъ, къ мерцающимъ тихо звѣздамъ, къ лунѣ ворожащей восходятъ призывные звуки гимна.

И бѣлоствольныя кудрявыя березки, и молочно-бѣлая застывшая въ холодномъ небѣ луна, и бѣлая, серебрящаяся, примятая дѣтскими колѣнками трава,—все тихо, все молчитъ и слушаетъ чутко. Все окрестъ чутко и торжественно слушаетъ, какъ эти дѣти, свѣтлыя, облитыя прозрачнымъ серебромъ холоднаго луннаго мерцанія, склонивъ на траву колѣни, поднявъ къ пустынно-ясному небу горящіе темными кругами на блѣдныхъ лицахъ глаза, поютъ, повторяя слова вслѣдъ за высокимъ, слишкомъ полнымъ молодымъ

человѣкомъ, лицо котораго темно, и взоры упрямо прикованы къ землѣ. Повторяютъ:

„Въ Интернасіоналѣ
Объединился родъ людской!“

Чужестранное, нерусскимъ звукомъ взятое слово звучитъ, какъ высокое, святое наименованіе обѣтованной земли. Новой земли подъ новыми небесами. Земли, въ которую вѣрятъ, земли, безъ благочестивой мечты о которой и жить нельзя.

Когда замолкъ гимнъ, отъ земли до небесъ простерлось молчаніе, святое и торжественное. Какъ въ храмѣ новаго, невѣдомаго культа, въ таинственный мигъ жертвоприношенія.

XXXVI.

Михаилъ Львовичъ первый нарушаетъ тишину. Онъ говоритъ медленно, ни на кого не глядя, устремивъ тяжелый взоръ поверхъ дѣтскихъ блѣдныхъ лицъ, за пламенный кругъ ихъ взоровъ:

— Друзья, вы знаете, какое теперь время. Каждый изъ насъ можетъ понадобиться. Если кого-нибудь изъ насъ пошлютъ, то, надѣюсь, никто изъ насъ не будетъ дрожать за свою драгоцѣнную жизнь; никто не разжалобится мыслью о маменькиномъ горѣ.

Дѣти восклицаютъ:

— Никто! никто! Только бы послали!

И Наташа думаетъ гордо:

„Что же горе одной матери въ сравненіи со страданіями цѣлаго народа!“

На мгновеніе встаетъ въ памяти матово-блѣдное лицо матери, и ея слишкомъ черные, вѣщіе глаза. Острая боль мгновенно пронзаетъ сердце. Но что-жъ! вѣдь это только одинъ мигъ слабости. Гордая воля побѣдитъ это малое страданіе объ одной близкой великою любовью ко многимъ далекимъ, но тяжко страдающимъ.

Что же горе одной матери! Пусть Ніобея вѣчно плачетъ о дѣтяхъ своихъ, умерщвленныхъ жгучими, отравленными стрѣлами высокаго Дракона, пусть Рахиль никогда не утѣшится.—что же горе бѣдной матери! Безоблаченъ Аполлоновъ ликъ, свѣтелъ Аполлоновъ сонъ.

Но больно, больно! Меркнетъ милая мечта, словно темный ликъ рокового человѣка, запѣвавшаго гордый гимнъ, затмилъ ворожащую въ небѣ луну, и на самое сердце бросилъ угрюмую тѣнь.

И нѣтъ луны, и нѣтъ ночи, и нѣтъ бѣлой полянки въ туманѣ въ лѣсу. Снова ясный день передъ Наташею, и она у окна, и передъ нею книга, и старый домъ молчитъ опять тоскливо. Разсѣялась туча, снова небо ясно,—брызнули пламенныя стрѣлы злого Дракона, снова о торжествѣ своемъ говоритъ побѣдитель!

Навстрѣчу тоскѣ безпощадной! Жаль, жги, мучь, проклятый Драконъ! Торжествуй, побѣдитель! О, скоро и ты склонишься къ закату, и обольешь опять полнеба жаркою кровью, умирая на закатѣ!

XXXVII.

Наташа надѣваетъ соломенную желтую шляпу и идетъ въ поле. Земля горяча, небо сине, воздухъ зноенъ, вѣтеръ спитъ, нивы желты, травы зеленѣютъ. И опять, утопая въ яркомъ зноѣ, Наташа будитъ въ себѣ сладкую истому воспоминаній, радующихъ забвеніемъ этого темнаго дня.

Идетъ,—и передъ нею, какъ и тогда, то же раскинулось колеблемое жаркимъ вѣтромъ золотое, жаркое поле. Воскресъ давно пережитый, душный, знойный полдень.

Воскресъ...

То было въ дни, когда еще Наташа такъ любила это милое свѣтило, земное, наше солнце, источникъ жизни и радости, вѣчный, неутомимый зовъ къ трудамъ и подвигамъ, къ подвигамъ свыше силъ человѣка.

О, предательская рѣчь искусителя Змія! Дурманитъ, и

манитъ, и сказочною страною кажетъ бѣдную землю нашу. Зачѣмъ?

Зыбкое опять передъ Наташею стелется море застывшихъ отъ жары колосьевъ и синенькихъ, миленькихъ цвѣточковъ, застѣнчиво склонившихъ передъ безпощаднымъ Дракономъ свои сладко-затуманенныя знойными грезами головки.

Наташа и ея братъ Борисъ идутъ вдвоемъ. Межа тѣсна. Это ихъ радуетъ почему-то. Не потому ли, что межу обступили золотыя волны ржи?

Такая высокая рожь! Изъ-за ея колосьевъ едва виднѣется вправо зеленая кровля стараго дома и полукруглое окно въ мезанинѣ, и слѣва маленькія деревенскія избы, сѣренькія, мохнатыя.

Наташа и Борисъ идутъ другъ за другомъ. Колышатся вокругъ нихъ шуршащіе сухо стебли ржи, колышатся васильки синеглазые. Колышатся во ржи два тоненькіе, хрупкіе силуэта.

Наташа идетъ впереди. Борисъ отсталъ. Наташа оглядывается.

Мальчикъ, смуглый, тоненькій, съ горящими кругами глазъ, въ полотняной курточкѣ, рветъ синіе цвѣточки. И уже большой снопъ ихъ едва держится въ его рукахъ.

XXXVIII.

Наташа смѣется и говоритъ брату:

— Довольно, милый, довольно. Я ихъ не смогу и въ рукахъ держать.

Весело отвѣчаетъ Борисъ:

— Удержишь, ничего!

Наташа протягиваетъ свою загорѣлую руку, и беретъ отъ него цвѣты. Она тоненькая, и снопъ синенькихъ васильковъ раскинулся на ея груди, совсѣмъ закрылъ ее,—такая тоненькая съ этимъ громаднымъ снопомъ въ рукахъ!

Весело спрашиваетъ Борисъ:

— Ну, что, тяжело?

Наташа смѣется. Лицо ея свѣтится благодарною радостью и веселою, дѣтскою рѣшительностью. Говоритъ:

— Ужъ донесу эти-то, но и довольно.

Борисъ говоритъ упрямо:

— Я хочу нарвать тебѣ какъ можно больше. Вѣдь мы можетъ быть, не скоро увидимся.

Голосъ его при этихъ словахъ печально вздрагиваетъ.

Наташа говоритъ задумчиво:

— Можетъ быть. никогда.

Ихъ лица становятся печальны и озабочены.

Борисъ, хмурясь, смотритъ въ сторону, и спрашиваетъ:

— Наташа, ты съ нимъ ѣдешь?

Наташа знаетъ, что Борисъ спрашиваетъ ее о Михаилѣ Львовичѣ,—о томъ человѣкѣ, который теперь посылаетъ ее на опасное дѣло, который потомъ пошлетъ и Бориса на безумнодерзкій подвигъ. Что-жъ! Безумство храбрыхъ!

И Наташа отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, одна. Онъ только потомъ проводитъ меня до мѣста.

Борисъ смотритъ на Наташу грустными, завидующими глазами, и осторожно спрашиваетъ:

— Страшно, Наташа?

Наташа улыбается. Такая гордость въ ея улыбкѣ! Говоритъ спокойно:

— Нѣтъ, Борисъ. Радостно.

Борисъ видитъ, что лицо ея радостно, и глаза, черные пламенные, веселы. Онъ смотритъ на нее, и ея спокойствіе сообщается и ему,—спокойная увѣренность въ себѣ и въ дѣлѣ.

Безумство храбрыхъ!

Дѣти идутъ дальше. Борисъ опять рветъ васильки. Наташа мечтаетъ о чемъ-то,—сорвала колосокъ, задумчиво жуетъ зернышко.

XXXIX.

Длится жаркій, знойный день. Неумолимый равнодушно глядитъ на дѣтей Драконъ. Онъ мечетъ безъ устали свои острыя, багровыя стрѣлы на смуглолицаго отрока съ пламенными кругами глазъ, и на дѣвушку, стройную, тоненькую, черноглазую. Жгучія стрѣлы его мѣтки и злы, и свѣтъ его безпощадно ровенъ,—но она идетъ, и въ глазахъ ея надежда, и въ глазахъ ея рѣшительность, и въ черныхъ глазахъ ея горитъ огонь, на которомъ пламенѣетъ душа къ подвигу свыше силъ человѣка.

Наташа вдругъ останавливается въ концѣ межи у пыльной дороги. Съ нѣжнымъ любованіемъ смотритъ на Бориса. Словно хочетъ она запомнить покрѣпче всѣ эти милыя черты родного смуглаго лица,—изломъ густыхъ бровей, упрямую сжатость румяныхъ губъ, твердый очеркъ подбородка, строгій профиль.

Вздыхаетъ Наташа легонько. И говоритъ Борису нѣжно и весело:

— Довольно, милый. А то меня съ такимъ ворохомъ, пожалуй, и въ вагонъ не впустятъ. Скажутъ, сдавайте въ багажъ.

Смѣются оба беззаботно. А Борисъ все-таки не можетъ оторваться отъ васильковъ. Говоритъ:

— Еще, еще только немножко. Я хочу, чтобы у тебя букетъ былъ гигантскій.

Шутитъ Наташа:

— Тебѣ бы все гигантское!

Но уже не смѣется. Знаетъ, какъ это въ немъ глубоко и значительно.

Борисъ смотритъ на нее, и отвѣчаетъ, повторяя любимую, задушевную свою мысль:

— Да, это правда, я люблю все такое огромное, чрезмѣрное. Во всемъ, во всемъ! Если бы мы всегда поступали такъ! Такъ отдавались бы всецѣло! О, какъ иначе сложилась бы тогда вся жизнь!

Наташа задумчиво повторяетъ:

— Чрезмѣрно, свыше силъ человѣка, расточать, расточать жизнь. Только бы не скупость, только бы не дрожать надъ своимъ,—лучше умереть, всю жизнь собрать въ одинъ узелокъ, и бросить!

— Да, да!—говоритъ Борисъ, и глаза его, черные, какъ ночь, пылаютъ далекою грозою.—Не жалѣть жизней, расточать ихъ, расточать безъ конца, только такъ можно достигнуть высокой нашей цѣли!

Перешли черезъ дорогу, опять идутъ тихо по узкой межѣ, и одежды ихъ бѣлы среди золотыхъ волнъ. Наташа протягиваетъ тонкую руку,—шуршатъ сухо колосья, и тяжелыя въ загорѣлую руку падаютъ зерна спѣлой ржи.

Рѣютъ надъ дѣтьми багровыя стрѣлы неумолимаго Дракона.

Дѣти идутъ, обреченные оба. Довѣрчиво идутъ, и не знаютъ они, что посылающій ихъ—предатель, и что цѣна ихъ крови ничтожна.

XL.

Что же это шуршитъ вокругъ такъ хрупко? Сегодняшняя рожь. А гдѣ же васильки и Борисъ? Васильки во ржи, синеокіе, а Борисъ повѣшенъ.

— А я?—въ странномъ, тяжеломъ недоумѣніи спрашиваетъ сама себя Наташа.

Озирается кругомъ, какъ разбуженная.

— Какъ же я?

Сама себѣ отвѣчаетъ:

— А я уцѣлѣла. Меня счастливый случай спасъ.

Такъ тяжело Наташѣ думать объ этомъ. Какъ можно пережить!

— Лучше бы я погибла!

Такъ просто это вышло. Наташу поставили третьимъ номеромъ, у самаго вокзала, на случай неудачи перваго и второго. Но справился первый, хотя и самъ погибъ отъ взрыва

Второй, услышавши невдалекѣ отъ себя взрывъ, совсѣмъ растерялся. Бросился спасаться. Сѣлъ на извозчика. Доѣхалъ до рѣки. Нанялъ лодку. На серединѣ рѣки бросилъ бомбу въ рѣку. Лодочникъ догадался, что дѣло не ладно. Да и увидѣли съ казеннаго парохода и съ берега. „Второго“ взяли, судили и повѣсили.

Наташа ничѣмъ не выдала себя. Ушла спокойно, не торопясь, со своею опасною ношею, никѣмъ не замѣченная. Вмѣшалась въ общій потокъ прохожихъ, озабоченныхъ каждый своимъ дѣломъ. Сдала бомбу, куда было назначено.

Черезъ нѣсколько дней она уѣхала домой. За нею не слѣдили.

Наташа ждала другого порученія.

И вдругъ какъ-то отошла отъ этого дѣла, потому что погибла вѣра въ него.

Это случилось еще до того, какъ Борю повѣсили. Разрѣшилось окончательно въ тѣ кошмарные дни, когда неожиданно и быстро была оборвана его жизнь.

Ужасные дни.

Но нѣтъ, не надо о нихъ думать, не надо ихъ вспоминать. Вспоминая, казнишь себя.

Лучше будить память о другомъ, безоблачномъ, прошломъ.

XLI.

Волшебное зеркало памяти, въ тебѣ отражено такъ много! Мелькаютъ милыя картины.

Цвѣты, за которыми они сами ухаживали. Грядка, надъ которою возились такъ любовно. Свѣжій, томный, вечерній духъ левкоя. Влажный по зарѣ отъ росы кустъ жасмина, отъ котораго пахнетъ такъ сладко, такъ нѣжно, что хочется плакать, какъ плачетъ росою трава по зарѣ золотой!

Площадка въ саду. Столбъ, гигантскіе шаги. Какъ быстро, какъ высоко взлетали они съ Борисомъ!

Милые дѣтскому сердцу праздники. Сочельникъ,—елка со свѣчами на зеленыхъ вѣточкахъ, съ разноцвѣтнымъ

блескомъ золотыхъ орѣховъ, красныхъ, зеленыхъ, голубыхъ подвѣсокъ, фольги, бѣлаго ватнаго снѣга; подарки, всегда неожиданно-радостные. Днемъ, — снѣгъ настоящій, хрупкій, блестящій, какъ соль; морозъ щиплетъ щеки, солнце красно, рукавички пушисты, шапочки бѣлы и мягки, салазки мчатся съ горки,—ухъ!

А вотъ наступаетъ Пасха. Торжественная ночь. Заутреня. Радостное пѣніе. Огоньки свѣчъ, огоньки безъ конца. Пахнетъ куличами. Разноцвѣтно-расписанныя яички. Поцѣлуи со всѣми. Всѣ рады.

— Христосъ воскресъ!

— Воистину воскресъ!

А дорогіе сердцу покойники мертвы.

Нѣтъ. Милыя, наивныя воспоминанія не перебьютъ рокового круга, воскрешенія тѣхъ же смутныхъ, отрывочныхъ, страшныхъ воспоминаній. Неудержимо влечется мечта къ страшнымъ, послѣднимъ минутамъ.

XLII.

Жили въ столицѣ зимою. Борисъ учился въ послѣднемъ классѣ гимназіи. На святкахъ уѣхалъ въ другой городъ. Сказалъ, къ родственникамъ.

Наташа догадалась было. Но онъ не сказалъ правды.

— Право ничего,—отвѣчалъ онъ на всѣ ея разспросы.— Никто меня не посылаетъ. Самъ ѣду. Къ тетѣ Любѣ.

Да Наташа и не настаивала.

И вотъ нѣсколько дней не было отъ него писемъ. Но дома не безпокоились. Борисъ не любилъ писать. Думали, что веселится и некогда.

Былъ вечеръ въ началѣ января. Мать и бабушка были въ гостяхъ, Наташа осталась дома. Сказала, голова болитъ.

— Полежу на диванѣ. Пройдетъ.

А настоящая была причина,—не хотѣлось ѣхать въ этотъ скучный домъ къ чопорнымъ свѣтскимъ родственникамъ.

Прислуга тоже отпросилась въ гости. Наташа осталась въ квартирѣ одна. Легла у себя на диванѣ. Взяла новую, интересную книжку. Читаетъ.

Послѣ нѣсколькихъ дней праздничнаго веселья и всякой иной суеты Наташа чувствуетъ себя славно. Уютно, спокойно, легко. Занавѣски на окнахъ непроницаемо-плотны. Лампа горитъ весело и ровно, подъ бисерною бахромою абажура скрывая отъ глазъ ярко-раскаленные, молочно-бѣлые перегибы своихъ тонкихъ въ стеклянной грушѣ ниточекъ. Вся небольшая комната тонетъ въ свѣтлой зелено-розовой тѣни.

Страница за страницею,—ровныя строки, ровная рѣчь,—утомляютъ, наконецъ, Наташино вниманіе. Наташа дремлетъ. И засыпаетъ. Раскрытая книга съ мягкимъ шумомъ падаетъ на коверъ, и въ неровной измятости страницъ забываетъ, гдѣ была раскрыта.

XLIII.

Вдругъ звонокъ. Наташа встрепенулась.

Наши? Нѣтъ. Звонокъ прозвенѣлъ такъ неувѣренно, такъ робко. Казалось, что это во снѣ услышала звонокъ, не наяву, или кто-то маленькій и проказливый шалитъ несмѣлою рукою.

Или послышалось?

Такъ дремлется. Лѣнь встать. Пусть звонятъ.

Но вотъ и второй звонокъ, настойчивѣе, громче.

Наташа вскакиваетъ и бѣжитъ въ переднюю, оправляя на бѣгу смявшуюся на валикѣ дивана прическу.

Двери не открываетъ, вспомнивъ, что она въ квартирѣ одна, и спрашиваетъ:

— Кто тамъ?

Изъ-за двери слышится негромкій, сиплый голосъ, словно простуженный,—почтальонскій голосъ:

— Телеграмма.

Забилось сердце боязливо. Такъ страшно всегда полу-

чать телеграммы. Не торопятся только хорошія вѣсти,—злыя спѣшатъ.

Наташа вложила въ узкое желѣзное ложе плоскій конецъ дверной цѣпочки. Пріоткрыла дверь, смотритъ. Посыльный съ телеграфа,—башлыкъ, бляха на фуражкѣ, заледенѣлые, обвислые усы, высокій, сутулый, тощій. Суетъ телеграмму. Проситъ:

— Расписочку, барышня.

Въ Наташиной рукѣ дрожитъ крохотный сверточекъ сѣровато-бѣлой бумаги. Наташино сердце вдругъ упало, захолонуло. Наташа говоритъ безсвязно:

— Что тамъ? Боже мой! Расписку?

Бѣжитъ къ столу. Руки дрожатъ. Едва вывела фамилію „Озорева" на сѣрой бумагѣ, по которой скребетъ и царапаетъ перо.

— Возьмите, вотъ расписка.

Сунула черезъ цѣпочку въ руки посыльнаго расписку и на-чай. Захлопнула за нимъ дверь. Бѣжитъ къ лампѣ. Что такое?

Разорвала съ боку ленточку, читаетъ. Страшныя слова. Такія простыя, и такія непонятныя. Потому-что о Борисѣ.

„Борисъ стрѣлялъ... Арестованъ вмѣстѣ съ товарищами. Завтра военный судъ. Грозитъ смертная казнь".

XLIV.

Наташа перечитываетъ телеграмму. Быстрый ужасъ, странно похожій на стыдъ, мгновенно сжимаетъ ея сердце. Она слышитъ тяжелое стучаніе крови въ своихъ вискахъ. Точно давитъ что-то со всѣхъ сторонъ, и тяжело дышать, и словно желѣзныя воздвиглись отовсюду вокругъ нея стѣны, и все сдвигаются, -торопливыя, блѣдныя, карандашомъ брошенныя на сѣрую бумагу строчки.

Вотъ медленно, одна за другою, втѣсняются въ Наташино тусклое сознаніе мысли, тяжелыя, злыя, безпощадныя.

Тупо думаетъ Наташа о томъ, какъ сказать объ этомъ

мамѣ. Замѣчаетъ, что дрожатъ руки. Вспоминаетъ номеръ телефона Ларѣевыхъ, гдѣ теперь должна быть мама.

Вдругъ снова ужасъ, какъ лихорадочный ознобъ, потрясаетъ ее всю съ ногъ до головы. Въ головѣ яркая сумятица мыслей.

Нѣтъ, это ошибка! Этого не можетъ быть! Безумная, жестокая ошибка! Чья-то безсмысленная, грубая шутка.

Борисъ, нашъ милый мальчикъ, съ такими правдивыми глазами,—его повѣсятъ! Онъ захрипитъ, задыхаясь, качаясь въ петлѣ. Тугою острою болью сожмется дѣтская нѣжная шея, побагровѣетъ смуглое лицо, и, весь въ пѣнѣ, изо рта выползетъ распухшій языкъ, и широко раскрытые глаза отразятъ ужасъ жестокаго умиранія.

Нѣтъ, нѣтъ, этого не можетъ быть! Это ошибка! Но кто же такъ злобно ошибается?

И гдѣ же Борисъ?

Холодное сознаніе говоритъ, что это такъ, что нѣтъ никакой ошибки. Слова ясны, адресъ вѣренъ,—да, да! Вѣдь этого и надо было ждать. Вотъ, это же и есть то расточеніе жизни, о которомъ онъ мечталъ,—о которомъ мечтали они оба.

— Люблю все безмѣрное. Расточать жизнь,—только такъ достигнемъ высокой нашей цѣли.

Ноги дрожатъ. Все тѣло точно опустѣлое. Наташа садится на диванъ.

Господи, что же это? Какъ же сказать объ этомъ ужасѣ мамѣ?

Или скрыть? Самой сдѣлать, что можно? Да нѣтъ, что она можетъ сдѣлать одна!

Надо сказать. Скорѣе, скорѣе. Нельзя медлить ни минуты. Можетъ быть, еще можно спасти Бориса, ѣхать, просить.

Что же она сидитъ! Надо дѣйствовать, скорѣе.

XLV.

Наташа бросилась къ телефону. Какъ долго не отвѣчаетъ станція!

Наконецъ соединили. Слышна музыка, шумъ голосовъ. Веселый знакомый голосъ спрашиваетъ:

— Кто у телефона?

— Это я, Наташа Озорева.

— А, здравствуй, Наташа, — болтаетъ звонко Маруся Ларѣева.—Какъ жаль, что ты не пришла. У насъ превесело.

— Здравствуй, милая Маруся. Мама у васъ?

— Да, да, у насъ. Позвать ее?

— Нѣтъ, нѣтъ, ради Бога. Скажите ей кто-нибудь осторожнѣе...

— Что-нибудь случилось?

— Маруся, у насъ страшное несчастіе. Нашего Бориса арестовали.

— Боже мой! Да за что же?

— Не знаю. Военный судъ. Я въ отчаяніи. Такой ужасъ! Ради Бога, не испугайте сразу маму. Пусть она ѣдетъ домой, скорѣе, пожалуйста.

— Ахъ, Боже мой, какое горе!

— Маруся, милая, ради Бога, скорѣе.

— Сейчасъ, я скажу своей мамѣ. Подожди, Наташа, не отходи отъ телефона.

Стоитъ Наташа съ телефонною трубкою, прижатою къ уху, ждетъ. Слышитъ шумъ шаговъ. Кто-то запѣлъ.

Опять тотъ-же голосъ, взволнованный очень:

— Наташа, ты слушаешь? Твоя мама сама хочетъ съ тобою говорить.

Наташа дрожитъ отъ страха. Мама, Боже мой! Переспрашиваетъ:

— Что? сама хочетъ говорить?

— Да, да. Я передаю трубку твоей мамѣ.

XLVI.

Слышенъ голосъ Софьи Александровны, весь разорванный страшнымъ безпокойствомъ:

— Наташа, это ты? Ради Бога, что случилось?

Наташа отвѣчаетъ:

— Да, мама, это я. Пришла телеграмма. Мама, ты не бойся, это, должно быть, какое-то недоразумѣніе.

Слышенъ упавшій голосъ:

— Прочти мнѣ сейчасъ телеграмму.

— Сейчасъ принесу,—говоритъ Наташа.

Принесла телеграмму, прочла.

— Что? военный судъ?

— Да, военный.

— Завтра?

— Да, да, завтра.

— Казнятъ его?

— Мама, ради Бога, не волнуйся. Можетъ быть, можно что сдѣлать.

— Мы туда ѣдемъ. Наташа, собирайся. Сейчасъ мы съ мамою вернемся домой, и выѣдемъ съ первымъ поѣздомъ.

Отбой.

Наташа одна. Мечется по пустой квартирѣ. Собираетъ что-то, роняя вещи въ чуткой тишинѣ. Возится съ чемоданами, съ подушками.

Да, надо посмотрѣть, когда поѣздъ. Половина перваго. Ну, еще успѣемъ на ночной.

Звонокъ, испугавшій еще больше того, перваго. Это пріѣхали мама и бабушка, обезумѣвшія отъ блѣднаго ужаса.

XLVII.

Безсонная, томительная ночь въ вагонѣ. Стукъ колесъ, скрежещущій, мѣрный. Остановки. Такъ все медленно! Такая тоска! О, скорѣе, скорѣе!

Или желать лучше, чтобы застыло время? чтобы окоченѣли его распростертыя надъ міромъ мохнатыя крылья? чтобы немигающимъ на вѣки остановился его совиный взоръ на томъ мгновеніи, когда еще не сказано страшнаго слова?

Пріѣхали, наконецъ, днемъ. На вокзалѣ, уныломъ и грязномъ, ихъ встрѣтилъ Наташинъ двоюродный братъ, молодой присяжный повѣренный. По его блѣдному, растерянному лицу поняли, догадались, что все кончено.

Говоритъ много, но безсвязно. Утѣшаетъ надеждами, въ которыя самъ не вѣритъ.

Судъ уже былъ, рано утромъ. Борисъ и оба его товарища,—все такая же зеленая молодежь,—приговорены къ смертной казни черезъ повѣшеніе. Кассаціонная жалоба не будетъ допущена. Вся надежда на мѣстнаго генерала. Онъ, въ сущности, не злой человѣкъ. Можетъ быть, удастся вымолить у него облегченіе участи,—каторгу безъ срока.

Бѣдныя матери, о чемъ онѣ молятъ!

XLVIII.

Поѣхали къ генералу Софья Александровна и Наташа. Долго ждали въ пустынномъ, тихомъ залѣ, гдѣ блестѣлъ лощеный паркетъ, висѣли портреты въ золотыхъ рамахъ, и гулки были осторожные шаги мужчинъ въ мундирахъ, выходившихъ время отъ времени изъ огромной бѣлой двери.

Наконецъ приняли. Генералъ любезно выслушалъ, и рѣшительно отказалъ. Всталъ, звякая шпорами, вытянулся во весь ростъ,—стройный, высокій, съ грудью, увѣшанною орденами, съ сѣдыми волосами, краснымъ лицомъ, черными бровями и широкимъ носомъ.

Напрасны унизительныя мольбы.

Мама, блѣдная, гордая мама стояла на колѣняхъ передъ генераломъ, цѣловала, плача горько, его руки, въ ногахъ валялась,—напрасно. Холодный отвѣтъ:

— Простите, сударыня, не нахожу возможнымъ. Понимаю

вашу скорбь, вполнѣ сочувствую вашему горю, но что же я могу? Кто же въ этомъ виноватъ? На мнѣ лежитъ тяжелая отвѣтственность передъ Престоломъ и отечествомъ. Долгъ службы,—ничего не могу. Пеняйте сами на себя,—вырастили.

Что же слезы бѣдной матери! Бейся на холодномъ паркетѣ головою о черный блескъ его сапогъ, или уйди гордо и молча,—все равно, онъ ничего не можетъ. Твои слезы и мольбы его не тронутъ, твои проклятія его не оскорбятъ. Онъ—добрый человѣкъ, онъ—любящій отецъ семейства, но его прямая солдатская душа не трепещетъ передъ словомъ смерть. На войнѣ онъ дерзко бросалъ свою жизнь навстрѣчу смертнымъ опасностямъ,—что же ему смерть крамольника?

— Но вѣдь онъ совсѣмъ мальчикъ!

— Нѣтъ, сударыня, это не дѣтская шалость. Простите.

Уходитъ. Мѣрно звякаютъ шпоры. Паркетъ смутно отражаетъ высокую, стройную фигуру.

— Генералъ, сжальтесь!

Холодная, бѣлая дверь захлопнулась. Тихій, любезный говоръ молодого офицера. Поднимаетъ, помогаетъ уйти.

XLIX.

Дали свиданіе. Нѣсколько минутъ промчались въ сумятицѣ вопросовъ, отвѣтовъ, объятій, слезъ.

Борисъ почти ничего не говорилъ.

— Ты, мама, не плачь. Я не боюсь. Ну, они иначе не могутъ. Кормятъ здѣсь не дурно. Кланяйтесь роднымъ. А ты, Наташа, береги маму. Съ нашей семьи довольно. Ну, прощайте.

Какой-то былъ равнодушный и далекій. Казалось, что думалъ о чемъ-то иномъ, о чемъ не говорятъ никому. И звучали его слова, какъ внѣшнія, такъ, для разговора.

Ночью передъ разсвѣтомъ Бориса повѣсили. Казнили его въ тюремной оградѣ. Невѣдомо гдѣ зарыли.

Мать молила на другой день:

— Покажите мнѣ хоть могилу!

— Какая-жъ могила! Въ гробъ положили, въ землю зарыли, насыпь съ землею сравняли,—извѣстно, какъ казненныхъ хоронятъ.

— Хоть скажите, какъ умеръ.

— Что-жъ, молодцомъ. Спокойно, серьезно. А вотъ отъ священника отказался. И креста не цѣловалъ.

Такъ и вернулись домой. Туманъ тоски нависъ надъ ними. А подъ нимъ безумная зажглась надежда,—нѣтъ, Боря не умеръ, Боря вернется.

L.

Мысль о томъ, что Бориса повѣсили, не могла войти въ кругъ будничныхъ, привычныхъ мыслей. Только въ зенитный солнечный часъ да еще въ лунную полночь она острымъ кинжаломъ врѣзывалась вдругъ въ разбуженное сознаніе. И опять пронзала душу острою, нестерпимою болью, и опять по зарѣ съ тупымъ туманомъ тусклой тоски уходила прочь. И опять возникала безумная увѣренность.

Нѣтъ, Боря вернется. Вотъ звякнетъ звонокъ, откроютъ дверь.

— А, Боря! Гдѣ ты пропадалъ?

Какъ мы его расцѣлуемъ! Новостей сколько!

— Гдѣ пропадалъ, тамъ нѣту. Пропадалъ, и нашелся, какъ блудный сынъ.

Сколько радости будетъ!

А старенькая нянька плачетъ неутѣшно. Причитаетъ:

— Борюшка, Борюшка, ненаглядненькій мой! Я ему говорю: я, Борюшка, въ богадѣльню пойду. А онъ мнѣ: не хочу, говоритъ, нянечка, не пущу тебя въ богадѣльню, я тебя, говоритъ, возьму къ себѣ, старенькая, дай мнѣ только вырасти, живи, говоритъ, у меня. Борюшка, да что же это!

Утромъ пошла старая няня въ переднюю. Видитъ,—чье это сѣрое пальто на вѣшалкѣ? Борино, гимназическое. Развѣ онъ сегодня не пошелъ въ гимназію?

Идетъ въ столовую, шамая мягкими туфлями.

— Наташенька, да что это, Борюшка дома? Смотрю, пальто на вѣшалкѣ. Или боленъ?

— Нянечка!—восклицаетъ Наташа.

И съ испугомъ смотритъ на мать.

Вспомнила старенькая няня. Плачетъ. Трясется сѣдая голова въ черной повязкѣ. Причитаетъ старая:

— Пошла, смотрю, пальто на вѣшалкѣ. Борюшкино пальто, въ гимназію ходилъ Борюшка, думаю, съ чего дома? не праздникъ. Борюшка,—нѣтъ Борюшки моего!

Все громче вопли. Упала старая, бьется на полу.

— Боречка, Боречка, родненькій! Господи, меня бы, старую, прибралъ вмѣсто него. На что мнѣ жизнь! Брожу, ни себѣ ни людямъ радости.

Наташа блѣдныя шепчетъ слова:

— Нянечка, милая, успокойся.

— Успокой меня ты, Господи! Господи, чуяло мое сердце. Сны все снились нехорошіе. Сбылись черные сны! Боречка, родной!

Бьется, плачетъ старая. Наташа проситъ мать:

— Мамочка, ради Бога,—вели убрать съ вѣшалки Борино пальто.

Софья Александровна смотритъ на нее пламенно-черными глазами, и говоритъ угрюмо:

— Зачѣмъ? Пусть виситъ. Вдругъ оно ему понадобится.

О, ненавистныя воспоминанія! Пока царитъ на небѣ злой Драконъ, никуда не уйдешь отъ нихъ.

Наташа мечется, не находитъ себѣ мѣста. Въ лѣсъ пойдетъ,—о Борисѣ думаетъ, о томъ, что онъ повѣшенъ. Къ рѣкѣ пойдетъ,—о Борисѣ думаетъ, о томъ, что его нѣтъ. Вернется домой,—и стѣны стараго дома о Борисѣ напоминаютъ, о томъ, что онъ не вернется.

Блѣдною тѣнью ходитъ по аллеямъ сада мать, выбирая мѣста, гдѣ гуще тѣнь. Сидитъ на скамеечкѣ бабушка, прямая, какъ молоденькая институтка, и дочитываетъ газеты. Все то же каждый день.

LI.

Но вотъ уже вечерѣетъ. Солнце низко и багрово. Оно смотритъ людямъ прямо въ глаза, словно, издыхая, о жалости молитъ. Отъ рѣчки вѣетъ прохладою и смѣхомъ бѣлыхъ русалокъ.

Развѣваются весело подолы рубашекъ у мальчишекъ, бѣгующихъ шумною толпою, и пузырями надуваются ихъ рукава. Гдѣ-то вдали пиликаетъ хриплая гармоника, и пѣсня льется развеселая. Въ полѣ громко скрипитъ коростель, и скрипъ его похожъ на зычный генеральскій храпъ.

Старый домъ опять расправляетъ и раскидываетъ далеко свои смятыя грубымъ днемъ темныя тѣни. Окна его загораются заревою алою радостью.

Томно пахнутъ въ далекихъ аллеяхъ левкои. Розы по зарѣ еще розовѣе и благоуханнѣе. Вѣчная, розовѣя нагимъ мраморомъ дивнаго тѣла, снова улыбается Афродита, роняя одежды движеніемъ, плѣнительнымъ, какъ прежде.

И все опять, какъ прежде, къ милымъ, безумнымъ надеждамъ устремлено. Изнеможенная въ пыланіи дня, тоскою яснаго дня измученная душа истощила всю свою волю къ страданіямъ, и падаетъ изъ желѣзныхъ объятій тоски на темную, милую землю былой жизни, вновь орошенную мечтательно-прохладною росою.

И опять, какъ по зарѣ утромъ, ждутъ своего Бориса три женщины въ старомъ домѣ, на краткое время счастливыя въ своемъ безуміи.

Ждутъ и говорятъ о немъ, пока изъ-за деревьевъ темнаго лѣса не подниметъ своего вѣчно-опечаленнаго лика холодная луна. Мертвая луна надъ бѣлымъ саваномъ тумана.

Тогда онѣ опять, всѣ трое, вспоминаютъ о томъ, что Боря повѣшенъ, и сходятся къ затянутому ряскою пруду плакать о немъ.

LII.

Прежде всѣхъ выходитъ изъ дому Наташа. На ней бѣлое платье и черный плащъ. Ея черные волосы прикрыты легкимъ чернымъ платкомъ. Въ ея слишкомъ черныхъ глазахъ затаились глубокіе пламенники. Она стоитъ, обративъ къ лунѣ блѣдное лицо. Ждетъ остальныхъ двухъ.

Елена Кирилловна и Софья Александровна приходятъ вмѣстѣ.

Елена Кирилловна выходитъ изъ дому раньше, но Софья Александровна бѣжитъ за нею, и уже у самаго пруда ее догоняетъ. На нихъ черные плащи, черные платки на головахъ, и черные башмаки.

Наташа говоритъ:

— Въ ночь передъ казнью онъ не спалъ. Луна, такая же ясная, какъ теперь, смотрѣла въ узкое окно его камеры. На полу его камеры она печально чертила зеленый ромбъ, пересѣченный вдоль и поперекъ узкими черными чертами. Борисъ ходилъ по камерѣ, глядѣлъ то на луну, то на зеленый ромбъ, и думалъ. Я бы хотѣла знать, о чемъ онъ думалъ въ эту ночь?

Такъ спокойно звучитъ ея вопросъ. Какъ о чужомъ.

Софья Александровна порывисто ломаетъ руки, и говоритъ, и голосъ ея трепетенъ и напоенъ тоскою:

— Что можно думать въ такія минуты! Вотъ луна свѣтитъ, давно уже мертвая. Пять шаговъ отъ двери до окна, четыре шага поперекъ. Мысль прыгаетъ лихорадочно съ предмета на предметъ. О томъ, что завтра утромъ казнь, стараешься не думать. Упрямо гонишь эту мысль. А она стоитъ, не отходитъ, давитъ душу тяжкимъ, уродливымъ кошмаромъ. Тоска томитъ неодолимая. Но не надо, чтобы мои тюремщики и всѣ эти чиновники, которые придутъ, замѣтили мою тоску. Буду спокоенъ. Такая тоска,—завылъ бы, къ блѣдной лунѣ поднимая блѣдное лицо!

Елена Кирилловна шепчетъ тихо:

— Страшно, Сонюшка.

Въ ея голосѣ слезы,—простодушныя, старухины, бабушкины слезы.

LIII.

Софья Александровна, не слушая, продолжаетъ:

— Зачѣмъ-то надо, чтобы я шелъ на казнь смѣло и рѣшительно. Но не все ли равно? Казнятъ за оградою, въ темной ночи. Умру ли я смѣло, буду ли малодушно рыдать, молить пощады, отбиваться отъ палача,—не все ли равно. Никто не узнаетъ, какъ я умеръ. Передъ лицомъ моей смерти я одинъ. Зачѣмъ же терпѣть мнѣ эту дикую тоску? Завою, зарыдаю, всю тюрьму переполошу моимъ отчаяннымъ воплемъ, и городъ разбужу, свободный, но такъ же скованный, какъ и моя тюрьма,—чтобы не одинъ я томился, чтобы и другіе пріобщились къ моему предсмертному томленію, къ послѣднему ужасу моему. Но нѣтъ, не надо. Моя судьба,—умру одинъ.

Наташа встаетъ, дрожитъ, сжимаетъ своею рукою холодную руку матери, и говоритъ:

— Мама, мама, это ужасно, если одинъ. Не надо, чтобы онъ чувствовалъ себя одинокимъ. Будемъ съ нимъ.

Елена Кирилловна шепчетъ:

— Да, Сонюшка, это страшно, если одинъ. Въ такія минуты!

— Мы съ нимъ,—настойчиво повторяетъ Наташа.—Мы уже съ нимъ.

На губахъ Софьи Александровны улыбка, подобная той, которою умирающій встрѣчаетъ свое послѣднее утѣшеніе. Софья Александровна говоритъ:

— Послѣднее утѣшеніе, мысль, что я не одинъ. Онъ со мною. Эти стѣны призрачны, эта тюрьма—воздвигнутая людьми ложь. Не ложно и не призрачно страданіе мое, и въ тоскѣ моей я соединенъ съ ними. Бѣдное утѣшеніе! Все-таки я, вотъ этотъ я, особенный, самъ для себя родившійся Борисъ, я умираю.

— Я умираю,—повторяетъ Наташа.

Ея голосъ теменъ и звучитъ отчаяніемъ. И всѣ трое молчатъ недолго, объятыя очарованіемъ трогательныхъ словъ.

LIV.

Опять говоритъ Софья Александровна. Голосъ ея кажется спокойнымъ, и звучитъ неторопливо, мѣрно:

— Нѣтъ никакого утѣшенія для умирающаго. Тоска его неодолима. Холодная луна мучительно томитъ его. Изъ его горла рвется стонъ, подобный дикому вою плѣненнаго звѣря.

Тоскливо говоритъ Наташа:

— Но онъ не одинъ, не одинъ. Мы же съ нимъ въ его тоскѣ.

Ея глаза,—они чернѣе черной ночи,—поднимаются къ не живой въ небесахъ лунѣ, и зеленая чародѣйка отражается въ нихъ, и томно мучитъ.

Софья Александровна улыбается,—и улыбка ея мертва,—и голосомъ неутолимаго горя говоритъ опять медленно и тихо:

— Мы съ нимъ только въ его безнадежности, въ его жалкой безутѣшности, въ его темномъ одиночествѣ. Одинъ, одинъ, онъ былъ задушенъ рукою наемнаго палача, задушенъ за страшною оградою, которой намъ не разрушить. И мертвая луна томила его, какъ она и насъ томитъ. Искушала она его безумною жаждою дикихъ воплей, звѣринаго предсмертнаго воя. А мы теперь, въ этотъ часъ, подъ этою луною, развѣ мы не томимся тою же безумною жаждою,—бѣжать, бѣжать далеко отъ людей, и стонать, и рыдать, и метаться отъ невыносимой тоски!

Она встаетъ порывисто, и идетъ, ломая прекрасныя бѣлыя руки. Идетъ быстро, почти бѣжитъ, словно гонимая чужою бѣшеною волею. Наташа идетъ за нею неторопливою, но быстрою, отчетливо-мертвою походкою автомата. А за ними торопится, роняя скупыя слезинки на черный плащъ, Елена Кирилловна.

Луна внимательно и равнодушно смотритъ на ихъ поспѣшное шествіе черезъ садъ, черезъ поле, въ тотъ лѣсъ, на ту тихую полянку, гдѣ когда-то дѣти пѣли гордый гимнъ, гдѣ когда-то къ безумнымъ подвигамъ зналъ ихъ тотъ, кто собирался продать ихъ за сходную цѣну,—юная кровь за золото.

Въ поляхъ росисты травы. Надъ рѣчкою бѣлъ туманъ. Въ небѣ луна ясна и холодна. Такъ вездѣ тихо, точно въ мертвомъ лунномъ свѣтѣ потонули всѣ земные шорохи и шумы.

LV.

Вотъ и поляна. Наташа, помнишь? Какъ дружно пѣли!

„Возстань, проклятьемъ заклейменный“.

Наташа, споешь? Не страшно?

— Спою,—кому-то тихо отвѣчаетъ Наташа.

Поетъ тихонько, почти про себя. Слушаетъ мать, и бабушка слушаетъ,—а березкамъ, и травамъ, и ясной лунѣ какое дѣло до людскихъ пѣсенъ!

„Въ Интернасіоналѣ
Объединится родъ людской!“

Замолкла. Тихо въ лѣсу. Луна ждетъ. Туманъ задумчивъ. Березки чутки. Небо ясно.

Ахъ, вся эта жизнь для кого? Кто зоветъ? Кто отзовется? Или все это—мертвая игра?

Громкимъ воплемъ зоветъ мать:

— Боря, Боря!

Заливаясь слезами, отвѣчаетъ Елена Кирилловна:

— Боря не придетъ. Его нѣтъ.

Наташа протягиваетъ руки къ неживой лунѣ, и кричитъ:

— Бориса повѣсили!

Онѣ все трое становятся рядомъ, смотрятъ на луну, и плачутъ. Все громче и отчаяннѣе звучатъ ихъ рыданія.

Ихъ стенящіе вопли переходятъ наконецъ въ протяжный, дикій вой, слышный далеча окрестъ.

Собака у избушки лѣсника настораживается. Дрожитъ всѣмъ худымъ тѣломъ, подняла ухо, взъерошила рѣдкую шерсть. Встала, вытянулась на сухихъ лапахъ Острая морда съ оскаленными зубами поднята къ мучительной лунѣ. Глаза горятъ тоскливыми огнями. Собака воетъ, вторя далекому плачу женщинъ въ лѣсу.

Люди спятъ.

ЗОЛОТАЯ ЛѢСТНИЦА.

I.

Со времени смерти своей матери Леонидъ не могъ и не хотѣлъ утѣшиться. Надъ нимъ тяготѣла неотступная печаль, такая несвойственная его возрасту,—ему только на-дняхъ исполнилось пятнадцать лѣтъ. Прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ съ того дня, когда по талому снѣгу истлѣвающей зимы погребальная колесница двигалась медленно отъ большой лѣстницы стараго прадѣдовскаго дома по старой березовой аллеѣ, сопровождаемая толпою родныхъ, друзей и знакомыхъ, колесница черная съ бѣлымъ, матовая и страшная, увозя бездыханное въ тѣсномъ гробу тѣло его милой мамы,—и все еще, какъ первый день смертной скорби, смутенъ и грустенъ былъ Леонидъ, и ничему не улыбнулся, и не обрадовался ни разу ничему. Ничему!

Каждый день рано утромъ спускался онъ въ садъ по каменной широкой лѣстницѣ, и садился на скамьѣ, поставленной на ея нижней площадкѣ. Смотрѣлъ на эту высокую сѣрую лѣстницу, по которой такъ медленно и печально несли тогда черные люди бѣлый гробъ,—смотрѣлъ, вспоминалъ, мечталъ о чемъ-то грустномъ. Когда было необходимо заняться чѣмъ-нибудь, онъ съ тоскою и неохотою оставлялъ свое любимое мѣсто, и потомъ опять торопился къ подножію высокой лѣстницы.

Въ полугорѣ стоялъ старый, большой домъ,—онъ теперь, вмѣстѣ со всѣмъ этимъ имѣніемъ, принадлежалъ Леониду. Каменная, длинная лѣстница вела отъ него внизъ, къ аллеѣ старыхъ березъ и къ весело зеленѣющему саду. Изъ сѣраго камня были вытесаны столбики ея перилъ, и она лежала на горѣ, холодная и печальная. Тамъ, наверху, гдѣ была терраса у входа въ домъ, еще не кончалась она, загибала на лѣвую сторону дома, и поднималась снаружи къ высокой башнѣ, съ которой далекіе видны были окрестные просторы. Въ сравненіи съ домомъ лѣстница казалась слишкомъ большою, и каменная, холодная печаль ея, казалось, тяготѣла надъ обоими жильями стараго дома, и восходила къ высокой башнѣ, небесамъ открывая, безмолвнымъ и высокимъ, свои высокія, холодныя томленія, свои тусклые, вѣчные вздохи.

Когда багряная на радостномъ небѣ играла вечерняя заря, недолгою радостью алѣли холодныя, каменныя ступени,—и безсильно погасали опять.

Но ясны ли были небеса надъ лѣстницею и надъ башнею, омрачались ли они печалью темныхъ тучъ,—Леониду всегда казалось, что невидимые вѣстники печали нисходятъ къ нему по каменному холоду ступеней. И у нихъ крылья остры, длинны и черны, и въ глазахъ у нихъ пламенная тьма, и въ нѣжныхъ рукахъ у нихъ до краевъ наполненныя слезницы. Взоры ихъ упадали глубоко въ душу Леониду,—и не улыбался онъ дню и солнцу, и не радовался веселью и смѣху, закипавшимъ въ просторахъ стараго сада.

Напрасно благоухали и пестрѣли передъ Леонидомъ цвѣты, оберегаемые заботливостью опытнаго, искуснаго садовника,—напрасно небеса надъ Леонидомъ голубѣли въ высокой ясности безоблачнаго дня,—напрасно звенѣли надъ нимъ быстрые вскрики легкокрылыхъ птицъ и забавно-радостныя ихъ щебетанія,—напрасно приходили къ Леониду говорить съ нимъ, утѣшать его и забавить его многочисленныя родственницы,—сестры, тети,—и подруги ихъ, и улыбались ему кармино-алою прелестью беззаботныхъ улы-

бокъ,—напрасно! Леонида не радовало ничто, и ничто не вызывало на его уста улыбки.

II.

Сестра его Елена говорила ему:

— Мы всѣ любили маму...

И темно-каріе глаза ея становились влажными.

— Мы всѣ не можемъ забыть ее...

И легкою печалью омрачалось ея милое лицо,—милое лицо чистой сердцемъ семнадцатилѣтней дѣвушки.

— Но развѣ мама, наша милая мама, была бы довольна, если бы видѣла, что мы тоскуемъ и плачемъ безъ конца?

И отвѣчалъ ей Леонидъ:

— Когда я закрою глаза, мнѣ представляется, что по этимъ ступенямъ идутъ ко мнѣ изъ нашего дома одинъ за другимъ вѣстники печали. И подходятъ ко мнѣ одинъ за другимъ, и я вижу острый изломъ черныхъ крыльевъ, и слышу,—каждый говоритъ мнѣ горькое слово. И въ словахъ ихъ—укоръ неправедной жизни и хвала утѣшающей смерти. И проходятъ. Когда я прихожу сюда ночью, я опять вижу ихъ на холодныхъ ступеняхъ, подъ холодною луною,—и одежды ихъ смутно бѣлѣютъ, и очи ихъ темны, и рѣчи ихъ горьки,—ахъ, горьки, но и радостны, радостны радостью, смертельно жалящею мое сердце!

И говорила ему Елена:

— Они говорятъ неправду. Что-жъ изъ того, что они приходятъ къ тебѣ изъ нашего стараго дома! Ты не долженъ имъ вѣрить. Они злые послы злого духа, и обманчивы ихъ скорбные взоры, и печальныя рѣчи ихъ—ложь. Развѣ ты не знаешь, что уже давно обличена неправда ихъ злыхъ, коварныхъ внушеній?

— Кѣмъ обличена? когда?—грустно спрашивалъ Леонидъ.

Прислушивался къ ея отвѣту, и надѣялся услышать что-то несомнѣнное, что побѣдило бы его тоску. Но не могъ повѣрить тому, что говорила, отвѣчая ему, Елена.

Говорила:

— Развѣ ты забылъ сладчайшее имя Того, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и побѣдить смерть?

И отвѣчалъ ей Леонидъ:

— Онъ родился, и мы его убили. Онъ рождается, и мы его убиваемъ. Ахъ, знаю,—явлены были чудеса и слава, но намъ-то что! Коснѣемъ мы во тьмѣ жизни нелѣпой и безобразной. И какъ же не повѣрить мнѣ милымъ вѣстникамъ нескончаемой скорби, нисходящимъ ко мнѣ по холоду этой сѣрой лѣстницы!

Молчали долго. И спросила Елена:

— Развѣ мы только убиваемъ? Страдая творимъ и, творческимъ подвигомъ радуя, радуемся.

— Не знаю радости,—говорилъ Леонидъ.—Тяжелые камни на моей душѣ.

— Я сниму ихъ,—говорила Елена.

— Не хочу,—отвѣчалъ Леонидъ.—Горька печаль моя, но путь мой правъ, и не къ жизни ведетъ онъ. Умру отъ печали, здѣсь, у этихъ сѣрыхъ плитъ, здѣсь, у ногъ непрерывно нисходящихъ вѣстниковъ скорби.

И вотъ выраженіе непреклонной воли легло на Еленино прекрасное лицо, и черныя брови ея упрямо сдвинулись, и темные глаза ея съ угрозою поднялись къ старому дому и къ сѣрымъ ступенямъ, по которымъ нисходили незримые. Она сказала:

— Нѣтъ, такъ не будетъ! Если даже и правы они, злые и безрадостные, то все же воля моя преобразитъ міръ скорби въ свѣтлый міръ восторга. Зачарую вѣстью радости сѣрыя ступени этой тяжелой лѣстницы, и золотую на ея мѣстѣ ты увидишь лѣстницу, и по этой золотой лѣстницѣ низведу къ тебѣ радостныхъ вѣстницъ, легкую вереницу вѣстницъ обрадованныхъ и радующихъ. Тогда ты, Леонидъ, повѣришь ли имъ и мнѣ? Тогда утѣшишься ли? Тогда благословишь ли легкій, сладкій воздухъ земного, милаго бытія?

— Да,—тихо отвѣчалъ Леонидъ,—тогда повѣрю, и утѣшусь, и благословлю. Но нѣтъ, Елена,—эта лѣстница такая

высокая, такая тяжелая, такая холодная,—какъ же ей быть золотою лѣстницею! По ея ли жесткимъ ступенямъ пройдутъ нѣжныя ноги тихо радующихся дѣвъ?

Ничего не сказала ему на это Елена. Ушла. И оставила его одного съ его печалью. Къ сестрамъ и подругамъ ушла, и говорила съ ними о чемъ-то долго, и уговаривала ихъ, склоняя къ чему-то.

III.

Приходили къ Леониду и другія, и утѣшая говорили съ нимъ. Сестрица Лиза, влюбленная красавица, готова была безъ конца говорить о своемъ женихѣ. И вдругъ, перебивая сама себя, говорила:

— Милый Леонидъ, повѣрь мнѣ,—жизнь такъ хороша, такъ сладко жить! Только ты одинъ наводишь на всѣхъ насъ уныніе. Перестань тужить и печалиться. Будь, какъ всѣ добрые люди.

Леонидъ отвѣчалъ ей спокойно:

— Ты счастливая и веселая, иди къ такимъ же веселымъ и счастливымъ, а меня оставь.

Она легонько вздыхала и уходила.

IV.

Приходила Анна Петровна, фельдшерица. Она садилась рядомъ съ Леонидомъ, тонкая, прямая, улыбалась сухими, тонкими губами большого рта, закуривала папироску, и говорила:

— Очень вредно скучать такъ долго. Это можетъ скверно отразиться на вашемъ здоровьи, Леонидъ.

Леонидъ мелькомъ взглядывалъ на туго сложенный на затылкѣ узелъ черныхъ волосъ Анны Петровны, и молчалъ. Анна Петровна продолжала:

— Необходимо принять мѣры. Лучше всего обратиться къ врачу. Но и до прибытія врача можно кое-что предпри-

нять. Гимнастика, игры, купанье,—все это можетъ измѣнить ваше настроеніе въ хорошую сторону. Вы сегодня купались, Леонидъ?

— Нѣтъ еще,—отвѣчалъ Леонидъ.

— Я бы совѣтовала вамъ сейчасъ же выкупаться.

Она вытаскивала длинными, тонкими пальцами изъ-за чернаго съ узкою пряжкою пояса свои маленькіе часики, смотрѣла внимательно на ихъ матово-бѣлый циферблатъ, задумывалась на минуту, и говорила:

— Да, теперь какъ-разъ самое удобное время. Идите же, Леонидъ, не пропускайте удобнаго времени, когда еще солнце не очень высоко.

— Хорошо,—говорилъ Леонидъ.

Онъ шелъ купаться. Неширокая и неглубокая, тихая рѣка огибала длинною лукою садъ стараго дома. Даль полей зеленѣла за нею, тихая, грустная, тая въ своемъ молчаніи далекіе голоса.

Леонидъ входилъ въ прохладу водъ, и плылъ къ противоположному берегу и обратно. Отраденъ былъ глубинный холодъ водъ, и не о жизни говорилъ онъ Леониду. О смерти холодной, спокойной, утѣшающей, уводящей отъ злыхъ томленій подъ очами безумно пламенѣющаго въ пустынѣ высокихъ небесъ Дракона.

Леонидъ неторопливо одѣвался. По влажному песку берега, по теплымъ травамъ лужаекъ, по мелкому сухому песку аллей проходилъ онъ тихо, и земля приникала къ его нагимъ стопамъ, родная, милая земля, та, въ которой спитъ его мама, и влажная росою трава обвивалась нѣжно вокругъ его открытыхъ до колѣнъ ногъ.

Милая земля, не изъ тебя ли возникла вся жизнь земная? Но, приникая къ стопамъ тоскующаго отрока, не о жизни напоминаешь ты, къ утѣшительному зовешь ты успокоенію въ тишинѣ и во тьмѣ твоей глубины.

V.

Леонидъ возвращался къ скамейкѣ у подножія сѣрой лѣстницы. И къ ногамъ его льнулъ холодъ каменныхъ ступеней, и смѣялся кто-то незримый, повторяя:

— Гдѣ же золотая лѣстница?

Легкое облачко табачнаго дыма синѣло, расплываясь въ тепломъ утреннемъ лѣтнемъ воздухѣ,—какъ дымъ ладона синѣло дымное облачко. Анна Петровна курила, сидя на скамейкѣ, и, улыбаясь навстрѣчу Леониду, смотрѣла на его покрытыя росою раннихъ травъ ноги.

— Вотъ такъ-то лучше,—говорила она.—Теперь займитесь-ка гимнастикой. Послѣ купанья это очень полезно. Ну-съ, сдѣлаемте вотъ что.

Она хмурила брови, и все ея сухое лицо выражало строгую дѣловую озабоченность; задумывалась на минутку, и наконецъ называла какое-нибудь гимнастическое упражненіе. Леонидъ послушно исполнялъ ея команду, и продѣлывалъ одно за другимъ нѣсколько упражненій. Тѣлу было удобно двигаться въ легкой, короткой лѣтней одеждѣ, грудь легко дышала подъ тонкимъ бѣлымъ полотномъ,—но лицо его оставалось спокойнымъ и нерадостнымъ, и улыбки не цвѣли на немъ, и потому со стороны странно было смотрѣть на этотъ урокъ гимнастики въ саду, на песчаной площадкѣ у подножія высокой сѣрой лѣстницы, ведущей въ старый домъ и выше, на его башню.

Но Анна Петровна была довольна. Она серьезно отсчитывала темпъ движеній:

— Разъ! Два! Три! Четыре!

Когда, по ея мнѣнію, было довольно, она вмѣсто „четыре“ говорила:

— Стой!

И придумывала новое упражненіе. Въ промежуткахъ между двумя движеніями приговаривала:

— Главное, дышите свободно и глубоко. Нормальное дыханіе—очень важное условіе хорошаго самочувствія.

Леонидъ смотрѣлъ на ея серьезное лицо, на ея худощавыя смуглыя щеки съ выдающимися монгольскими скулами, и думалъ, что она вся механическая, какъ кукла, заряженная чужими словами, и что она сама по себѣ никогда ничего не думаетъ, и ничего въ мірѣ ни разу по-своему не почувствовала. И онъ думалъ, что ужъ если надо жить на этой землѣ, то хорошо быть вотъ такимъ „организмомъ".

И Анна Петровна говорила:

— Человѣческій организмъ для своего правильнаго развитія требуетъ извѣстныхъ условій, которыя болѣе или менѣе точно установлены наукою. Ну-съ, вольныхъ упражненій достаточно. Теперь мы займемся бѣгомъ. Я бѣгу, вы меня догоняете. Вы помните, надѣюсь, какъ слѣдуетъ держать туловище при бѣгѣ? Главное, дышите свободно и глубоко.

Анна Петровна бросала докуренную папироску, вставала, оправляла скучныя складки своей строгой лиловой юбки, и, хлопая въ ладоши, мѣрно считала:

— Разъ! Два! Три!

Со словомъ „три" она срывалась съ мѣста, и мчалась по березовой аллеѣ, прижимая локти къ бокамъ и отводя плечи назадъ, чтобы грудь дышала свободнѣе. Но лицо ея оставалось озабоченнымъ, и тонкія губы ея слабо и невѣрно улыбались, точно по заказу.

Леонидъ бѣжалъ за нею не тихо и не скоро, не догоняя ея, и не отставая. Движенія высоко открытыхъ ногъ его были легки и красивы, и руки его двигались, какъ у бѣгущаго юнаго полубога, но лицо его оставалось печальнымъ, и улыбки не было на его алыхъ, на его нѣжныхъ губахъ. И сердце билось въ его груди, и сжималось томленіемъ тоски и печали, и ритмичный бѣгъ его былъ точно бѣгъ увлекаемаго въ стремительное круженіе послѣдняго, смертнаго пути. Лиловое на зеленыхъ радостяхъ листвы и травъ вѣяніе строгой юбки было передъ нимъ, какъ вѣемый не-

зримо цвѣтъ безнадежной печали, влекущей стремительно въ смертный путь.

Добѣжавъ до рѣчного берега, Анна Петровна останавливалась и говорила:

— Вы, Леонидъ, опять не могли догнать меня. Положимъ, я хорошо бѣгаю. Но я довольна. И я надѣюсь, что сегодняшнія упражненія благопріятно отразятся на общемъ состояніи вашего организма, а слѣдовательно, и на вашемъ настроеніи.

Леонидъ благодарилъ Анну Петровну, и уходилъ на свою скамейку, къ подножію вѣчно-сѣрой лѣстницы. И, глядя на ея высокія, строгія ступени, и на строгій очеркъ ея тяжелыхъ перилъ, онъ думалъ съ безнадежною грустью:

„Умру отъ печали, а ты никогда не будешь золотою лѣстницею, и не сойдутъ ко мнѣ очаровательныя вѣстницы восторга, уносящаго душу, и побѣждающаго тоску и смерть.“

Закрывалъ глаза, и проходили передъ нимъ вѣстники печали. И одежды ихъ были бѣлы, и крылья ихъ были черны и остры, и горькія съ ихъ строгихъ устъ падали слова.

VI.

Вотъ раздавались снова чьи-то робкіе голоса,—дѣвичьи голоса звучали смущенно и весело.

Леонидъ открывалъ глаза. Передъ нимъ стояли поповны, румяныя, смущенно-веселыя дѣвушки, Алевтина, Антонина, Валентина и Зинаида. Онѣ подталкивали одна другую, перешептывались, и наконецъ старшая, Алевтина, говорила Леониду:

— Составьте намъ, Леонидъ, компанію въ саду вашемъ погулять.

— Мнѣ гулять не хочется,—отвѣчалъ Леонидъ.

— А посидѣть здѣсь съ вами можно, дозволите, Леонидъ?—спрашивала Антонина.

— Пожалуйста, посидите,—отвѣчалъ Леонидъ спокойно и невесело.

Сестры усаживались рядышкомъ. Ихъ свѣтлыя платьица при этомъ почему-то шумѣли, точно слегка подкрахмаленныя. Онѣ хихикали, переглядывались, и разговоръ заводила уже третья, по порядку.

— Мнѣ очень нравится вашъ садъ,—говорила Валентина.

И младшая, Зинаида, говорила за нею:

— Очень красивая лѣстница, а сверху, съ башни, удивительно восхитительный видъ на всю окрестность.

— Я не понимаю,—говорила Алевтина,—какъ можно скучать, когда имѣешь такой шикарный домъ съ такою упоительною лѣстницею, и такую великолѣпную башню съ такимъ отличнымъ видомъ.

Антонина говорила:

— Сдѣлайте намъ такое большое удовольствіе, поднимемся съ вами на башню полюбоваться видами окрестности.

— Пойдемте,—равнодушно говорилъ Леонидъ.

Поповны радостно устремлялись вверхъ, а за ними шелъ Леонидъ. О, скучное восхожденіе по сѣрому камню ступеней! и каменный холодъ у ногъ, и жесткіе подъ ногами камни!

На каждой изъ трехъ площадокъ до верху и на террасѣ у входа въ домъ поповны останавливались, восхищались и ахали.

И наконецъ на башнѣ. Поповны замирали отъ восторга.

Ахъ, милыя земныя дали! Вы зеленѣете и цвѣтете, и вольный проносится надъ вами вѣтеръ, взвѣвая сизые пыльные вихри,—но вся ваша цвѣтущая радость отравлена истомою смерти!

И нѣтъ радости Леониду, и нѣтъ улыбки на его губахъ. Поповны сходятъ съ башни, и глядятъ на его печальное лицо. Онѣ добрыя, и хочется имъ развлечь Леонида, и обрадовать, но не знаютъ онѣ утѣшающихъ словъ, и вздыхаютъ, и уходятъ.

VII.

Иногда приходитъ къ Леониду здѣшняя сельская учительница, Марья Николаевна, молодая дѣвушка. У нея очень умное лицо, мягкія, какъ у лошадки, губы, и кроткіе сѣрые глаза. Она постоянно таскаетъ съ собою какую-нибудь тоненькую, но умную книжку, и пользуется всякою свободною минуткою, что бы почитать. Она говоритъ:

— Нехорошо, что вы ничѣмъ серьезно не займетесь, Леонидъ.

— Я учусь не плохо,—отвѣчаетъ ей Леонидъ.

— Я это знаю,—говоритъ Марья Николаевна,—но я посовѣтовала бы вамъ заняться самостоятельнымъ чтеніемъ. Есть очень умныя и очень полезныя книги.

Она говоритъ долго и умно.

Леонидъ смотритъ на ея лицо, и думаетъ, что ея мягкія губы и ея кроткія глаза не идутъ къ умному выраженію ея лица, и что потому она вся нескладная. Миленькая, недурная, стройненькая, ничего себѣ къ лицу причесана, ничего себѣ къ лицу одѣта, хотя и скромненько,—а все-таки нескладная какая-то. И что она лепечетъ о книжкахъ,—ахъ, глупая! Что скажутъ книги ему, тоскующему на дикомъ холодѣ сѣрой каменной лѣстницы?

Много жило въ домѣ молодыхъ дѣвушекъ и молодыхъ женщинъ,—много приходило въ домъ молодыхъ къ нимъ подругъ,—и всѣ онѣ заводили съ Леонидомъ добрыя, утѣшающія рѣчи,—и ни одна изъ нихъ не умѣла утѣшить его.

VIII.

Собрала Елена своихъ молодыхъ родственницъ и подругъ, и сказала имъ:

— Всѣмъ намъ жаль нашего милаго Леонида, который не хочетъ утѣшиться. Онъ настойчиво возвращается на скамью на нижней площадкѣ большой лѣстницы, и

смотритъ на ея сѣрыя, холодныя ступени. Ему кажется, что по лѣстницѣ спускаются незримые вѣстники печали; нескончаемою вереницею проходятъ они передъ нимъ, и говорятъ ему горькія слова,—хулятъ жизнь, и славятъ смерть. Но мы изгонимъ злыхъ вѣстниковъ. Во имя Того, кто родился, чтобы оправдать жизнь и побѣдить смерть, мы изгонимъ ихъ. Сѣрую лѣстницу печали мы преобразимъ въ золотую лѣстницу красоты и восторга.

— Какъ же это сдѣлать?—спросили ее сестры и подруги.

И разсказала имъ Елена свой замыселъ. Нѣкоторыя изъ нихъ,—правда, немногія,—согласились сразу, другія же спорили и отказывались. Имъ казалось неловко и стыдно исполнить то, о чемъ говорила Елена. Онѣ боялись, что ихъ осудятъ сосѣди, и что на нихъ разсердятся ихъ родители. Спорили и уговаривали ихъ остальныя долго,—нѣсколько дней прошло въ этихъ совѣщаніяхъ,—и наконецъ всѣ согласились. И было много ихъ, молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ, родственницъ Леонида, и подругъ ихъ; когда Елена сосчитала всѣхъ, готовыхъ притти къ Леониду вѣстницами восторга, то число ихъ было двадцать.

IX.

Знойный день опять склонялся къ паденію, и было тихо окрестъ безмолвнаго стараго дома. Тѣни березъ, какъ утомленныя долгою дорогою путницы, легли устало на нижнія ступени сѣрой лѣстницы. Леонидъ сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ. Онъ зналъ, что скоро солнце, падающее къ закату, станетъ въ просвѣтъ березовой аллеи, и короткою нѣжно-алою надеждою затеплятся сѣрыя ступени, чтобы черезъ нѣсколько минутъ опять охолодѣть и окаменѣть въ тусклой, сѣрой своей безнадежности. Съ настойчивою печалью говорили ему тихо-скользящіе мимо вѣстники скорби:

— Обманами радости и смѣха прельщаетъ жизнь, — не вѣрь ея прельщеніямъ.

— Многообразны пути плѣнительныхъ заблужденій и соблазновъ, но правый путь одинъ.

— Смертный путь.

— Смѣется жизнь надъ тѣми, кто мечтаетъ оправдать ее.

— Только въ смерти истина, только смерти принадлежитъ правая побѣда.

И приходили одинъ за другимъ.

X.

Но вотъ пришла Елена. Она сказала Леониду,—и голосъ ея слегка вздрагивалъ отъ волненія:

— Пройдутъ краткія минуты, и по золотой лѣстницѣ пройдутъ вѣстницы восторга, хвалящія милую жизнь. И ты обрадуешься имъ, Леонидъ?

— Да, — сказалъ Леонидъ, — если бы они пришли! Но вотъ все передо мною тусклая обычность и холодъ сѣраго камня, и взвѣянная на ступени вѣтромъ сѣрая пыль.

— Жди,—сказала Елена.

Она медленно поднялась по ступенямъ, и долго слѣдилъ Леонидъ за мельканіемъ ея легко розовѣющаго на солнцѣ бѣлаго платья.

Она скрылась въ дверяхъ стараго дома. И никого не было въ саду, и все окрестъ томилось странною тишиною. Гдѣ-то на востокѣ за деревьями чутко замолкнувшаго сада было лиловое, свинцовое предчувствіе грозы.

Отодвинулись отъ сѣрыхъ ступеней тѣни березъ, и тихій свѣтъ упалъ къ ногамъ Леонида. Тогда вдругъ среди спускавшихся по лѣстницѣ вѣстниковъ печали произошло странное смятеніе, и на лицахъ ихъ отразился чрезвычайный испугъ. Съ рѣзкими воплями, подобными крикамъ встревоженныхъ птицъ, они распростерли въ воздухѣ тихо алѣющаго вечера свои острыя, черныя крылья, и быстрою, длинною вереницею устремились къ небесамъ. Въ пронизанной вечернею алостью и зеленоватою янтарностью голубизнѣ высотъ они стали, какъ сливающіяся въ одну тучу облака,

и голоса ихъ были тогда подобны отголоскамъ далекаго грома.

Удивился Леонидъ, и поднялъ глаза къ высокой башнѣ своего стараго дома. Чудное зрѣлище представилось его глазамъ.

XI.

Вереница радостныхъ женъ и дѣвъ спускалась неторопливо съ высокой башни по ступенямъ лѣстницы. Въ лучахъ зари вечерѣющей невинною алостью радовались, золотясь, ожившія вдругъ подъ нѣжными, обнаженными стопами милыхъ вѣстницъ ступени. Легкія туники облекали стройныя тѣла радостно идущихъ и смѣющихся вѣстницъ,— и цвѣта ихъ туникъ были, какъ переливы струящихся алыхъ огней и пламенѣющихъ розово, янтарно и зелено зорь. Милыя плечи ихъ радовались поцѣлуямъ вѣтра и солнца, и обнаженныя руки ихъ ликовали, алѣя алостью смѣющейся зари, и веселы были ихъ высоко открытыя въ легкомъ, легкомъ движеніи ноги. И подъ радостно нагими стопами вѣстницъ, радостно смѣющихся, преобразились холодныя ступени,—и золотая стала передъ глазами Леонида лѣстница, лѣстница красоты, радости и восторга.

Елена шла впереди своихъ сестеръ и подругъ. Когда она достигла середины лѣстницы, она движеніемъ легкимъ и радостнымъ сбросила свою тунику на озаренныя ступени золотой лѣстницы,—и остальныя дѣвы и жены одна за другою уронили свои туники. Золотая лѣстница покрылась радостною многоцвѣтностью тканей,—и нагія вѣстницы ликующею вереницею приближались къ Леониду, предавая лобзаніямъ напоеннаго зарею воздуха свѣтлую, легкую обрадованность своихъ тѣлъ.

— Милыя вѣстницы,—говорилъ Леонидъ, простирая къ нимъ руки,—о, милыя вѣстницы радости!

Проходили веселыя, легкія, мимо Леонида, и цѣловали, его, и говорили ему слова утѣшенія и радости.

— Творя красоту, радуемся,—говорила Елена,—и скорбь нашу преображаемъ въ легкую радость.

— Жаждемъ любви, и любимъ, и радуемся, — говорила Елизавета.

— Какъ радостно дышать милымъ воздухомъ земли! — говорила Анна.—Какъ радостно отдавать свое тѣло суровонѣжнымъ лобзаніямъ стихій!

— Какая милая, родная земля подъ нашими ногами! — говорила Алевтина.

— Какія веселыя открываетъ земля передъ нами дали, безконечныя дали!—говорила Антонина.

— Какіе сладкіе ароматы у цвѣтовъ! — говорила Валентина.—Какою радостью дышутъ земныя травы!

— Какая радость—восходить высоко, высоко, любоваться небомъ и звѣздами!—говорила Зинаида.

— Такъ много радостей на землѣ!—говорила Марія, — и радостенъ трудъ, и мудрыя утѣшительны книги.

И всѣ двадцать семь женъ и дѣвъ, радостныя и нагія, прошли передъ Леонидомъ, хваля жизнь, и ликуя о ней.

И потомъ окружили его, закружились въ легкомъ бѣгѣ, увлекли его въ радостное, легкое круженіе восторга, и на влажной вечернею росою травѣ завели веселый, буйный хороводъ.

А въ высотѣ надъ ними громыхали тяжелыя тучи, и быстро темнѣло небо, и было смятеніе и гнѣвъ, и голоса разъяренныхъ вѣстниковъ печали. И грому, и блистанію молній, и голосамъ бурь, и потокамъ холоднаго ливня отвѣчали буйные, ликующіе голоса неразумнаго земного восторга.

О себѣ радовалась ликующая юность, преображая обычное земное въ необычайность прекраснаго и восторгающаго душу.

КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ.

I.

Хочу нынѣ разсказать о томъ, какъ спасенъ былъ въ наши дни нѣкто, хотя и мало достойный, но все-таки братъ нашъ, спасенъ отъ злыхъ чаръ ночного волхвованія словами непорочнаго Отрока. Темной вражьей силѣ дана обываетъ власть на дни и часы,—но побѣждаетъ всегда Тотъ, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развѣнчать смерть.

II.

Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольскаго тяжелая и томная.

Онъ все больше и больше отдалялся отъ всѣхъ своихъ друзей, родственниковъ и знакомыхъ. Все охотнѣе проживалъ онъ короткіе темные дни и длинные черные вечера въ уныломъ великолѣпіи своего стараго особняка, и ограничивался только недолгими прогулками по всегда тщательно выметеннымъ аллеямъ тѣнистаго небольшого сада при его домѣ.

Николай Аркадьевичъ даже не принималъ почти никого, кромѣ своей недавней знакомой Лидіи Ротштейнъ, блѣднолицей, прекрасной молодой дѣвушки съ жутко-громадными глазами и чрезмѣрно-яркими губами.

Прежде Николай Аркадьевичъ любилъ всѣ прелести веселой, разсѣянной жизни. Онъ любилъ свѣтское общество, зрѣлище, музыку, спортъ. Бывалъ вездѣ, гдѣ бываютъ обыкновенно всѣ. Живо интересовался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ всѣ въ его кругу интересуются, чѣмъ принято интересоваться. Былъ онъ молодъ, независимъ, богатъ, въ мѣру окруженъ, и въ мѣру одинокъ и свободенъ, веселъ, счастливъ и здоровъ.

А теперь вдругъ все это странно и нелѣпо измѣнилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою надъ нимъ власть. Забылась пестрота впечатлѣній и ощущеній разнообразной, веселой жизни. Ни къ чему не тянуло. Ничего не хотѣлось.

Все, что прежде передъ его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилось блѣднымъ, жутко-прекраснымъ лицомъ его красногубой гостьи.

И только хотѣлось ему смотрѣть въ бездонную глубину этихъ странныхъ, точно неживыхъ, точно навѣки заворожденныхъ тишиною и тайною, зеленоватыхъ глазъ. И только хотѣлось ему видѣть эту безумно-алую на блѣдномъ лицѣ улыбку, видѣть этотъ большой, прямо разрѣзанный ротъ съ такими яркими губами, точно сейчасъ только разрѣзанъ этотъ ротъ, и еще словно свѣжею дымится онъ кровью. И только хотѣлось ему все слушать да слушать тихія, злыя слова, неторопливо падающія съ этихъ странныхъ и очаровательныхъ устъ.

Такое все стало скучное, что внѣ этихъ стѣнъ! Такою докучною, ненужною казалась ему вся эта жизнь, внѣшняя, шумная, которою онъ жилъ до сихъ поръ.

Вялая лѣность разливалась въ его тѣлѣ, прежде такомъ бодромъ и радостномъ. Голова стала часто болѣть и томно кружиться, полная глухихъ, безумныхъ шумовъ и звоновъ. Лицо его блѣднѣло, точно яркія губы Лидіи Ротштейнъ выпивали всю его жизнь.

III.

Съ чего это началось? Теперь это какъ-то смутно и неохотно припоминалось ему.

Познакомились гдѣ-то, въ сумеречномъ, холодномъ свѣтѣ осенняго вечера. Кажется, говорили что-то незначительное. Николай Аркадьевичъ былъ чѣмъ-то въ тотъ день занятъ и увлеченъ. Она была блѣдна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили съ минуту, не больше. Разошлись, — и Николай Аркадьевичъ забылъ о ней, какъ забываютъ всегда о случайныхъ, ненужныхъ встрѣчахъ.

IV.

Прошло нѣсколько дней. Николай Аркадьевичъ кончалъ свой завтракъ. Ему сказали, что его желаетъ видѣть госпожа Лидія Ротштейнъ.

Николай Аркадьевичъ слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забылъ совсѣмъ. Досадливо поморщился. Спросилъ лакея:

— Кто такая? Просительница? Такъ дома нѣтъ.

Молодой, красивый лакей Викторъ, тщательно подражавшій своему барину въ манерахъ и модахъ, усмѣхнулся такою же лѣнивою и самоувѣренною, какъ и у Николая Аркадьевича, улыбкою бритыхъ, холеныхъ губъ, и сказалъ съ такою же, какъ и у барина, растяжечкою:

— Не похожи на просительницу. Скорѣе будутъ изъ стилизованныхъ барышень. Гдѣ-нибудь на пляжѣ вы изволили съ ними познакомиться.

Уже весело улыбаясь, спросилъ Николай Аркадьевичъ:

— Ну, почему же непремѣнно на пляжѣ?

Викторъ отвѣчаетъ:

— Да такъ-съ мнѣ по всему сдается. По общему впечатлѣнію. Первое впечатлѣніе почти никогда не обманываетъ. Притомъ же изъ городскихъ словно бы такой не припомню.

Николай Аркадьевичъ спросилъ, продолжая соображать, кто бы такая могла быть эта стилизованная барышня Ротштейнъ:

— А какая она изъ себя?

Викторъ принялся разсказывать:

— Туалетъ черный, парижскій, въ стилѣ танагръ, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно блѣдное. Волосы черные, причесаны, какъ у Клео де Мерод. Губы до невозможности алаго цвѣта, такъ что даже удивительно смотрѣть. Притомъ же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада.

— А, вотъ это кто!

Николай Аркадьевичъ вспомнилъ. Оживился очень. Сказалъ почти радостно:

— Хорошо. Сейчасъ я къ ней выду. Проводите ее въ зеленую гостиную, и попросите подождать минутку.

Онъ наскоро кончилъ свой завтракъ. Прошелъ въ ту комнату, гдѣ ожидала его гостья.

V.

Лидія Ротштейнъ стояла у окна. Смотрѣла на великолѣпные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся въ изысканно черномъ, она стояла такъ тихо и спокойно, какъ неживая. Казалось, что грудь ея не дышитъ, что ни одна складка ея строгаго платья не шевельнется.

Очеркъ ея лица сбоку былъ строгъ и тонокъ. Лицо было такъ же спокойно, безжизненно, какъ и ея застывшее въ неподвижности тѣло. Только на блѣдномъ лицѣ чрезмѣрная алость губъ была живою.

Съ жестокою нѣжностью чему-то улыбались эти губы, и трепетно радовались чему-то.

Заслышавъ отчетливый звукъ легкихъ шаговъ Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго-красивой гостиной, въ которой преобладалъ зеленоватый камень ма-

лахитъ, Лидія Ротштейнъ повернулась лицомъ къ Варгольскому.

Съ нѣжною жестокостью чему-то улыбались ея чрезмѣрно-алыя губы, ея губы прекраснаго вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость ихъ была злая и побѣдительная.

Взоромъ, неотразимо берущимъ душу въ нерасторжимый плѣнъ, она смотрѣла прямо въ глубину глазъ Николая Аркадьевича. И было въ немъ странное смущеніе и непривычная ему неувѣренность, когда онъ услышалъ ея первыя слова, сказанныя золотозвенящимъ голосомъ.

VI.

Она говорила:

— Я къ вамъ пришла, потому что это необходимо. Для меня и для васъ необходимо. Вѣрнѣе, неизбѣжно. Пути наши встрѣтились. Мы должны покорно принять то, что неотвратимо должно случиться съ нами.

Николай Аркадьевичъ съ привычною, почти машинальною любезностью пригласилъ ее сѣсть.

Привычный скептицизмъ человѣка свѣтскаго и очень городского подсказывалъ ему, что его красноустая гостья— просто экзальтированная особа, и что слова ея высокопарны и нелѣпы. Но въ душѣ своей онъ чувствовалъ неодолимое обаяніе, наводимое на него холоднымъ мерцаніемъ ея слишкомъ спокойныхъ, зеленоватыхъ глазъ. И не было въ душѣ его того спокойствія, которое до того времени было ея постояннымъ и естественнымъ состояніемъ во всякихъ обстоятельствахъ его жизни, хотя бы самыхъ экстравагантныхъ.

Лидія Ротштейнъ сѣла въ подставленное ей Николаемъ Аркадьевичемъ кресло. Медленно снимая перчатки. она медленнымъ взоромъ обводила комнату,—ея стѣны съ малахитовыми колоннами,—ея потолокъ, расписанный какимъ-то лукаво-мудрымъ художникомъ конца позапрошлаго столѣтія,—ея старинную мебель, всѣ эти очаровательныя вещи,

соединившія въ себѣ прелесть умной старины и слегка развращеннаго, изысканнаго вкуса той далекой эпохи напудренныхъ париковъ, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданіемъ которой былъ старый домъ Варгольскихъ.

VII.

Тихо говорила Лидія Ротштейнъ:

— Какъ очаровательно все это, что васъ здѣсь окружаетъ! Этотъ домъ имѣетъ, конечно, свои легенды. По ночамъ, быть можетъ, здѣсь иногда ходятъ призраки вашихъ предковъ.

Николай Аркадьевичъ отвѣчалъ:

— Да, въ дѣтствѣ я слышалъ кое-что объ этомъ. Но мнѣ самому не доводилось видѣть здѣсь призраковъ. Люди нашего вѣка скептически настроены. Призраки боятся показываться намъ, слишкомъ живымъ и слишкомъ насмѣшливымъ.

Лидія спросила:

— Чего же имъ бояться?

Николай Аркадьевичъ отвѣчалъ, стараясь придерживаться тона легкой шутки:

— Электрическій свѣтъ вреденъ для нихъ, а наша улыбка для нихъ смертельна.

Тихо повторила Лидія:

—Электрическій свѣтъ! Самые страшные для людей призраки—это тѣ, которые приходятъ днемъ. Днемъ, какъ я пришла. Не кажется ли вамъ и въ самомъ дѣлѣ, что я похожа на такой призракъ, приходящій днемъ? Я такъ блѣдна.

Николай Аркадьевичъ сказалъ:

— Это къ вамъ идетъ. Вы очаровательны.

Ему хотѣлось быть слегка насмѣшливымъ. Но его слова противъ его воли звучали нѣжно, какъ слова любви.

Лидія говорила:

— Можетъ быть, и я пройду передъ вами, какъ одинъ изъ призраковъ вашего стараго дома, и исчезну, изгнанная вашею

скептическою улыбкою, какъ тѣ призраки, которыхъ вы уже изгнали отсюда. Если изгнали. Впрочемъ, Богъ съ ними, съ этими призраками. Я могу пробыть съ вами сегодня только недолгое время, а мнѣ надо многое сказать вамъ. Или, можетъ быть, вы не захотите меня выслушать?

— Пожалуйста, я весь къ вашимъ услугамъ,—сказалъ Николай Аркадьевичъ.

VIII.

Лидія помолчала немного, и продолжала:

— Меня зовутъ Лидіею, но мнѣ больше нравится, когда меня называютъ Лилитъ. Такъ назвалъ меня мечтательный юноша, одинъ изъ тѣхъ, кого я любила. Онъ умеръ. Умеръ, какъ всѣ, кого я любила. Любовь моя смертельна,—и мнѣ хорошо, потому—что любовь моя и смерть моя радостнѣе жизни и слаще яда.

Николай Аркадьевичъ замѣтилъ:

— Если ядъ сладокъ.

Онъ старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовалъ, что улыбка его блѣдна и безсильна.

Съ холодною, почти безжизненною настойчивостью повторила Лидія:

— Слаще яда. Во мнѣ душа Лилитъ, лунная, холодная душа первой эдемской дѣвы, первой жены Адама. Земное, дневное, грубое солнце мнѣ, блѣдной Лилитъ, ненавистно. Не люблю я дневной жизни и безобразныхъ ея достиженій. Къ холоднымъ успокоеніямъ зову я тѣхъ, кого полюбила. Къ восторгамъ безмѣрной и невозможной любви зову я ихъ. Пеленою мечтаній, которыя слаще ароматнѣйшихъ изъ земныхъ благоуханныхъ отравъ, я застилаю безобразный, дикій міръ дневного бытія. Многоцвѣтною, яркою пеленою застилаю я этотъ тусклый міръ передъ глазами возлюбленныхъ моихъ. Крѣпки объятія мои, и сладостны мои лобзанія. И у того, кого я полюблю, я прошу въ награду за безмѣрность и невозможность моихъ утѣшеній только малаго

дара, скуднаго дара. Только каплю его жаркой крови для моихъ холодѣющихъ венъ, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила.

Очарованіемъ великой печали и тоски безмѣрной звучали золотые звоны ея отравленныхъ страннымъ и страшнымъ желаніемъ рѣчей. Въ холодной глубинѣ ея глазъ разгоралось холодное, зеленое пламя,—и мерцаніе этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Онъ сидѣлъ, и молчалъ, и слушалъ тихія, золотомъ звенящія слова своей зеленоокой, красногубой гостьи.

IX.

И она говорила:

— Только одну каплю крови. Моими устами приникну я къ тѣлу возлюбленнаго моего. Моими жаждущими вѣчно устами я, какъ вставшій изъ могилы вампиръ, вопьюсь въ это милое, горячее мѣсто между горломъ и плечомъ, между горломъ, гдѣ трепещетъ дыханіе жизни, и бѣлымъ склономъ плеча, гдѣ напряженная дремлетъ сила жизни. Вопьюсь, вопьюсь въ сладостную плоть возлюбленнаго моего, и выпью каплю его жаркой крови. Одну каплю,—ну, можетъ быть, двѣ, три или даже четыре. Ахъ, возлюбленный мой не считаетъ! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко,—только бы оживить меня, холодную, жаркимъ трепетомъ своей жизни,—только бы я не ушла отъ него, не исчезла, подобная блѣдному, безжизненному призраку, исчезающему при раннемъ крикѣ пѣтуха.

Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевичъ сказалъ:

— Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально,—но я не понимаю, какое отношеніе я имѣю ко всему этому.

Но онъ сейчасъ же почувствовалъ всю ненужность и неправду своего жалкаго отвѣта. И потому, по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, голосъ его становился глуше и слабѣе.

и послѣднія слова онъ сказалъ совсѣмъ тихо, почти прошепталъ.

X.

Лилитъ встала. Подошла къ нему. Въ движеніяхъ ея не было той порывистой страстности, съ какою земныя женщины произносятъ свои признанія.

Стоя передъ Варгольскимъ, и глядя прямо въ его глаза холоднымъ взоромъ жуткихъ глазъ, въ которыхъ разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала:

— Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой.

Подчиняясь золотымъ звонамъ ея голоса, онъ всталъ со своего мѣста. И стояли они другъ противъ друга,—она, блѣдноликая, зеленоокая, съ чрезмѣрно яркими, какъ у вампира, устами, и вся холодная, какъ неживая, лунная Лилитъ,—и онъ, зачарованный и словно всю свою утративший волю.

Лилитъ сказала:

— Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнѣе, чѣмъ любилъ ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилитъ.

Упала минута молчанія. Казалось тогда, что не было сказано ни одного слова.

И вотъ спросила его Лилитъ:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли?

Варгольскій тихо отвѣтилъ ей:

— Люблю.

И чувствовалъ, какъ душа его тонетъ въ зеленой прозрачности ея тихихъ глазъ.

И опять спросила его Лилитъ:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнѣе, чѣмъ всѣ очарованія и прелести дневной жизни, меня, твою лунную, твою холодную Лилитъ?

Отвѣчалъ ей Варгольскій,—и холодъ великаго успокоенія былъ въ звукѣ его тихихъ словъ:

— Моя лунная, моя холодная Лилитъ, я люблю тебя сильнѣе, чѣмъ всѣ очарованія дневной жизни. И уже отрекаюсь отъ нихъ, и отвергаю ихъ всѣ за одинъ твой холодный поцѣлуй.

Радостно улыбнулась Лилитъ, но радостно-холодная улыбка ея была коварная и злая. И спросила Лилитъ:

— Отдашь ли ты мнѣ каплю твоей многоцѣнной крови?

Чувствуя, какъ въ душѣ его возникаютъ и сплетаются въ дивномъ бореніи ужасъ и восторгъ, Варгольскій сказалъ, простирая къ ней руки:

— Отдамъ тебѣ, моя Лилитъ, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмѣрно и навсегда.

И она прильнула къ его устамъ поцѣлуемъ долгимъ и томнымъ. Темное и томное самозабвеніе осѣнило Варгольскаго, и того, что было съ нимъ потомъ, онъ никогда не могъ отчетливо вспомнить.

XI.

Съ того дня Лидія Ротштейнъ приходила къ Николаю Аркадьевичу въ неопредѣленные сроки, то чаще, то рѣже, почти всегда неожиданно, въ разное время, то днемъ, то вечеромъ, то позднею ночью. Она какъ-то ухитрялась всегда заставать его дома. А потомъ это стало и нетрудно, когда онъ почти совсѣмъ прекратилъ сношенія съ людьми.

Всегда эти свиданія съ Лилитъ были окутаны въ сознаніи Варгольскаго густою пеленою страннаго, почти досаднаго ему забвенія. Одно зналъ онъ несомнѣнно,—какъ ни крѣпки были объятія Лилитъ, какъ ни безумно дики были ея поцѣлуи, все же ихъ связь оставалась чуждою грубыхъ земныхъ достиженій, и ни разу не отдалась ему эта странная, красноустая гостья съ неживыми глазами и съ апокрифическимъ именемъ.

Когда она приникала къ его плечу, легкая острая боль пронизывала все тѣло Варгольскаго,—и тогда становилось

ему сладко и томно. Въ тѣлѣ чередовались жуткія ощущенія зноя и холода, точно била его лихорадка.

Знойныя, жадныя губы Лилитъ, только однѣ живыя въ холодѣ ея тѣла, впивались въ его кожу. Поцѣлуй ихъ былъ подобенъ холодному бѣшенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его точится капля за каплею.

XII.

Лилитъ исчезала незамѣтно.

Долго послѣ ея ухода Варгольскій лежалъ, погруженный въ томное безсиліе, ни о чемъ не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чемъ. Даже о Лилитъ не мечталъ и не вспоминалъ онъ тогда. Самыя черты ея лица припоминались ему неясно и неопредѣленно.

Иногда онъ думалъ о ней потомъ, когда проходило то оцѣпенѣніе, въ которое погружали его ея ласки. Онъ думалъ иногда, что она не человѣкъ, а вампиръ, сосущій его кровь, что она его погубитъ, что надо ему оградиться отъ нея. Но эти короткія, вялыя мысли не зажигали его обезсилѣвшей воли. Ему было все равно.

Иногда онъ спрашивалъ себя, любитъ ли онъ Лилитъ. Но, прислушиваясь внимательно къ темнымъ голосамъ своей души, онъ не находилъ въ нихъ отвѣта на этотъ вопросъ. И было въ немъ равнодушіе, холодное и спокойное. Любитъ, не любитъ,—не все ли равно!

XIII.

Лакей Николая Аркадьевича, Викторъ, былъ женатъ. Однажды, незадолго до святокъ. онъ пришелъ къ Николаю Аркадьевичу не въ урочное время, и сказалъ ему:

— Жена моя, Наталья Ивановна, разрѣшившись на-дняхъ отъ бремени, проситъ васъ, Николай Аркадьевичъ, сдѣлать намъ большую честь, и удостоить быть воспріемникомъ отъ

купели нашего перваго сына, новорожденнаго младенца Николая.

Викторъ старался держаться своего всегдашняго спокойнаго, солиднаго тона, но при послѣднихъ словахъ, вспомнивъ со всею остротою новизны, что онъ уже отецъ, покраснѣлъ отъ радости и гордости, и засмѣялся съ неожиданнымъ, почти деревенскимъ, простосердечіемъ. Но, впрочемъ, тотчасъ же сдержался, и опять сталъ вести себя чинно и степенно. Сказалъ со всегдашнимъ своимъ достоинствомъ:

— И я со своей стороны осмѣливаюсь присоединиться къ просьбѣ моей жены. Сочтемъ за великую для себя честь, и будемъ чрезвычайно рады.

Николай Аркадьевичъ поздравилъ счастливаго отца. Согласился немедленно,—не потому, что хотѣлъ согласиться, а просто потому, что вялое равнодушіе давно уже угнѣздилось въ немъ.

И странное дѣло,—это обстоятельство, такое, повидимому, незначительное въ его жизни, съ какою-то неожиданною силою внесло рѣзкую перемѣну въ его отношеніи къ Лилитъ.

Первый же разъ, когда онъ увидѣлъ младенца Николая, котораго ему надо было назвать своимъ крестникомъ, онъ почувствовалъ нѣжное умиленіе къ этому слабо попискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завернутому въ мягкія, нарядныя пеленки. Глаза малютки еще не умѣли останавливаться на здѣшнихъ предметахъ,—но земная, вновь сотворенная изъ темнаго земного томленія душа, радостно мерцая въ нихъ, трепетала жаждою новой жизни.

Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткіе пламенники неживыхъ глазъ его бѣлолицой гостьи съ чрезмѣрно-красными губами. Сердце его вдругъ сжалось ужасомъ и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцвѣтной, многообразной жизни.

XIV.

Когда послѣ веселаго обряда крестинъ, въ которомъ онъ принялъ недолгое участіе, онъ вернулся къ себѣ въ мерцающую тишину высокихъ покоевъ, онъ опять почувствовалъ себя слабымъ и равнодушнымъ ко всему.

Тамъ, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельникъ.

Гдѣ же онъ встрѣтитъ праздникъ? Какъ его проведетъ? Уже давно, больше мѣсяца, онъ упрямо не принималъ никого, и самъ ни у кого не былъ.

Надъ холоднымъ его равнодушіемъ возникали то тихо поблескивающіе глазенки его крестника, то слабый его пискъ. И напоминали ему Младенца въ ясляхъ, и звѣзду надъ дивнымъ вертепомъ, и волхвовъ, принесшихъ дары. Все, что было забыто, что было отвѣяно холоднымъ дыханіемъ разсѣянной, свѣтской жизни, припомнилось опять, и опять томило душу сладкимъ предчувствіемъ восторга.

Варгольскій взялъ книгу, которую не открывалъ уже много лѣтъ. Прочиталъ трогательные, простые и мудрые разсказы о рожденіи и дѣтствѣ Того, Кто пришелъ къ намъ, чтобы нашу бѣдную земную, дневную жизнь оправдать и обрадовать, Кто родился для того, чтобы развѣнчать и побѣдить смерть.

Трепетна была душа, и слезы подступали къ глазамъ.

Злыя обольщенія его коварной гостьи вдругъ вспомнились Варгольскому. Какъ могъ онъ поддаться ихъ лживому обаянію! Когда цвѣтутъ на землѣ милыя, невинныя улыбки, когда смѣются и радуются милые, невинные дѣтскіе глаза!

Но вѣдь она, лунная, неживая, лживая Лилитъ, опять придетъ. И опять зачаруетъ обаяніемъ смертной тишины!

Кто же поможетъ? Кто спасетъ?

Книга безсильно выпала изъ рукъ Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась въ его обезсилѣвшей душѣ.

И какъ бы онъ сталъ молиться? Кому и о чемъ?

Какъ молиться, если она, лунная, холодная Лилитъ, уже здѣсь, за дверью?

XV.

Вотъ чувствуетъ онъ, что она стоитъ тамъ, за дверью, въ странной нерѣшительности, и медлитъ, колеблясь на страшномъ ему и ей порогѣ.

Лицо ея блѣдно, какъ всегда. Въ глазахъ ея холодное пламя. Губы ея цвѣтутъ страшною яркостью, какъ яростныя губы упившагося жаркою кровью выходца изъ темной могилы, губы вампира.

Но вотъ Лилитъ преодолѣла страхъ, въ первый разъ остановившій ее у этого порога. Быстрымъ, какъ никогда раньше, движеніемъ она распахнула высокую дверь и вошла. Отъ ея чернаго платья повѣяло страшнымъ ароматомъ туберозы, вѣяніемъ благоуханнаго, холоднаго тлѣнія.

Лилитъ сказала:

— Возлюбленный мой, вотъ я опять съ тобою. Встрѣчай меня, люби меня, цѣлуй меня,—подари мнѣ еще одну каплю твоей многоцѣнной крови.

Николай Аркадьевичъ протянулъ къ ней руки угрожающимъ и запрещающимъ движеніемъ. Онъ сдѣлалъ надъ собою страшное усиліе, чтобы сказать:

— Уйди, Лилитъ, уйди. Я не люблю тебя, Лилитъ. Уйди навсегда.

Лилитъ смѣялась. Былъ страшенъ и жалокъ трепетъ ея чрезмѣрно-алыхъ губъ, обреченныхъ томиться вѣчною жаждою. И говорила она:

— Милый мой, возлюбленный мой, ты боленъ. Кто говоритъ твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя въ мои объятія, я, твоя лунная Лилитъ. Я опять прижму тебя къ моей груди, которая такъ успокоенно дышитъ. Я опять прильну къ твоему плечу моими алыми, моими жаждущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилитъ.

Медленно приближалась къ нему Лилитъ. Было неот-

разимо очарованіе ея смѣющихся алыхъ губъ. И былъ слышенъ золотой звонъ ея словъ:

— Цѣлованіемъ послѣднимъ прильну я къ тебѣ сегодня. Я навѣки уведу тебя отъ лживыхъ очарованій жизни. Въ моихъ объятіяхъ ты найдешь нынѣ блаженный покой вѣчнаго самозабвенія.

И приближалась медленно, неотразимо. Какъ судьба. Какъ смерть.

XVI.

Уже когда ея протянутыя руки почти касались его плечъ, вотъ, между ними дивный затеплился тихо свѣтъ. Отрокъ въ бѣломъ хитонѣ сталъ между ними. Отъ его головы струился дивный свѣтъ, какъ бы излучаемый его кудрявыми волосами. Очи его были благостны и строги, и ликъ его прекрасенъ.

Отрокъ поднялъ руку, повелительно отстранилъ Лилитъ, и сказалъ ей:

— Бѣдная, заклятая душа, вѣчно жаждущая, холодная, лунная Лилитъ, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки,—уйди, Лилитъ, уйди. Еще нѣтъ міра между тобою и дѣтьми Евы,—уйди, Лилитъ, уйди. Исчезни, Лилитъ, уйди отсюда навсегда.

Легкій стонъ былъ слышенъ, и свирѣльно-тихій плачъ. Блѣдная въ сумракѣ полуосвѣщеннаго покоя, медленно тая, тихо исчезла Лилитъ.

Краткія прошли минуты,—и уже не было здѣсь дивнаго Отрока, и все было, какъ всегда, обыкновенно, просто, на мѣстѣ. Какъ-будто бы только легкою грезою въ полуснѣ было злое явленіе Лилитъ, и какъ-будто и не приходилъ дивный Отрокъ.

Только ликующая радость звенѣла и пѣла въ душѣ измученнаго, усталаго человѣка. Она говорила ему, что никогда не вернется къ нему блѣдноликая, холодная, лунная Лилитъ, злая чаровница съ чрезмѣрною алостью безумно жаждущихъ губъ. Никогда!

ПУТЬ ВЪ ДАМАСКЪ.

I.

Отъ буйнаго распутства неистовой жизни къ тихому союзу любви и смерти, —милый путь въ Дамаскъ...

Вечеромъ весенняго тихаго дня, когда на весело шумныхъ улицахъ громыхали дрожки, когда свирѣпые оборванцы и увядшія женщины продавали наивные ландыши, Клавдія Андреевна Кружинина вышла отъ доктора, красная и дрожащая отъ стыда и отчаянія, совершенно подавленная тѣмъ, что ей, молодой дѣвушкѣ, пришлось услышать. Казалось ей, что всѣ, и дожидающіеся въ гостиной больные, и горничная въ передней смотрятъ на нее съ насмѣшкою, жалящею сердце змѣиными укусами.

Кто же возьметъ ее, такую некрасивую и совсѣмъ неинтересную, застѣнчивую, неловкую, теряющуюся всегда при мужчинахъ?

Уже давно зеркало приводило ее въ отчаяніе,—противное правдивое стекло, отражающее безпощадно только то, что есть,—лицо, не только некрасивое, но и лишенное всякаго очарованія. Некрасивость лица не скрашивалась даже нѣсколькими отдѣльными пріятными и милыми чертами.

Глаза, живо отражающіе всякое движеніе, глубокіе и умные,—умильныя ямочки на щекахъ и на подбородкѣ,—густыя волны черныхъ, какъ осенняя ночь, волосъ,—всѣ эти разрозненныя прекрасности печально дисгармонировали съ общимъ сѣрымъ тономъ лица и всей неграціозной фигуры.

Кто же ее возьметъ? Кто назоветъ ее женою?

Съ безпощадною откровенностью циника, какимъ сдѣлала его профессія, докторъ бросилъ ей безпощадныя слова.

Клавдія Андреевна сконфуженно лепетала:

— Но, докторъ, какъ же это? Развѣ это отъ меня зависитъ? У меня нѣтъ жениха.

Докторъ пожалъ плечами.

— Съ природою не заспоришь,—равнодушно сказалъ онъ,—никакое лѣкарство вамъ не поможетъ.

II.

Въ томъ состояніи растерянности и стыда, когда дрожатъ и подкашиваются ноги, и не знаешь, что дѣлать, Клавдія Андреевна шла по улицамъ. Знакомые перекрестки и переходы привели ее въ квартиру въ четвертомъ этажѣ. со двора. Тамъ жила ея подруга, Наталья Ильинична Опричина, дѣвица волоокая, полногрудая, энергичная, славный человѣкъ и отличный товарищъ.

Клавдія Андреевна все ей разсказала. Если бы прошло хоть сколько-нибудь времени, хоть одинъ только день. тогда, можетъ быть, стало бы стыдно даже и подругѣ сказать объ этомъ. Но теперь вышло какъ-то само собою. Тѣмъ болѣе, что Опричина сразу, по несчастному, опрокинутому лицу Клавдіи Андреевны поняла, что случилось неожиданное что-то и очень непріятное,—и стала разспрашивать. Клавдія Андреевна сѣла, улыбнулась растерянно и стыдливо, и принялась разсказывать, подробно и добросовѣстно, какъ твердо заученный урокъ.

Разсказала и заплакала. Опричина ходила по комнатѣ

шагами грузными, отъ которыхъ легонько позвякивали на столѣ стеклышки подсвѣчниковъ,—и думала.

— По моему,—сказала она,—плакать тутъ нечего, а надо дѣйствовать. У тебя нѣтъ никого на примѣтѣ?

Клавдія Андреевна жалобнымъ голосомъ призналась:

— Нѣтъ никого.

Опричина говорила:

— Они скверные, всѣ эти наши мужчины, и это возмутительно и несправедливо, что за всякою смазливою рожицею ухаживаютъ охотно, будь она глупа, какъ набитый оселъ, а на некрасивыхъ никто не хочетъ смотрѣть.

Она внезапно остановилась, и подошла къ Клавдіи Андреевнѣ съ такимъ видомъ, точно вдругъ придумала что-то очень удачное и остроумное.

— Знаешь, я тебѣ могу помочь. У меня какъ-разъ есть подходящій... Ну, однимъ словомъ, это—одинъ мой очень хорошій знакомый. Онъ любитъ имѣть дѣло съ невинными дѣвушками. Я тебѣ это устрою.

III.

Черезъ нѣсколько дней Клавдія Андреевна сидѣла въ отдѣльномъ кабинетѣ дорогого ресторана съ изысканно-одѣтымъ господиномъ лѣтъ сорока съ чѣмъ-то. Разговоръ плохо вязался. Былъ сервированъ легкій, но дорогой ужинъ,—были устрицы, шампанское. Клавдія Андреевна была смущена, но храбро старалась скрыть это. Сергѣй Григорьевичъ Ташевъ, ея собесѣдникъ, говорилъ комплименты ея уму, остроумію, образованности.

— Давно уже я не проводилъ такого пріятнаго вечера. Вы—самая умная изъ всѣхъ женщинъ, которыхъ я знаю въ Петербургѣ.

Клавдія Андреевна смотрѣла на его подозрительно черные волосы, на его слишкомъ прямой станъ, на непріятный очеркъ прямо разрѣзаннаго рта съ коротко подстриженными надъ нимъ черными, жесткими усами. Чувствовала

она, что все это говорится потому, что невозможно похвалить ея наружность, и все-таки необходимо говорить пріятныя, сближающія слова.

Иногда вдругъ казалось ей все это сномъ, выдумкою. Она—некрасивая, сутуловатая, въ своемъ вѣчномъ черномъ, убого прикрашенномъ ради „случая“ голубымъ галстучкомъ, платьѣ, никогда не посѣщавшая ресторановъ, не знавшая, какъ держать себя, какъ открыть электричество и управиться съ артишоками. И эта странно-чуждая комната съ красными раздражающими обоями, съ традиціонными зеркалами, съ піанино въ углу, и съ бархатною гранатовою портьерою, за которою укрывается еще что-то,—что? умывальникъ? постель? И элегантный господинъ съ крупными, точно миндалины, желто-бѣлыми зубами, съ тщательнымъ проборомъ надъ помятымъ лицомъ, со складками вокругъ рта и глазъ, и его чрезмѣрно, на ея взглядъ, изысканный костюмъ, и удивительный темно-гранатовый пластронъ на батистовой сорочкѣ.

Что свело ихъ здѣсь? Почему они съ нимъ, такіе чужіе, далекіе, вчера еще незнакомые, сидятъ здѣсь одни, вдвоемъ, отдѣленные тяжелыми гранатовыми портьерами отъ улицы, отъ города, отъ всего внѣшняго, всегдашняго, привычнаго?

Эта пряно-странная обстановка дѣйствовала на Клавдію Андреевну, какъ кружащее голову навожденіе. Бѣлые нарциссы и багряные гвоздики въ хрустальной чашѣ среди стола благоухали въ нагрѣтомъ воздухѣ. Вино, играющее такъ пріятно, благодарно согрѣвающее и поднимающее, золотое, радостное, въ высокихъ шарообразныхъ рюмкахъ.

Забыла всю нелѣпицу спутанной связи событій, и зачѣмъ сюда пришла, забыла, потеряла память объ этомъ, уронила ее въ золотыя слезы въ рюмкахъ,—и сидѣла радостная, отвѣчала, говорила, даже засмѣялась на смѣшной разсказъ о знакомомъ профессорѣ.

Ташевъ говорилъ, заканчивая анекдотъ:

— Не знаю, какъ могутъ интеллигентные люди посѣ-

щать подобныя мѣста. Я, напримѣръ, могу похвастаться, если ужъ на то пошло, что ни разу не обладалъ женщиной безъ любви.

Клавдія Андреевна вздрогнула, можетъ быть, отъ слишкомъ холоднаго вина, въ которомъ плавали кусочки нерастаявшаго льда. Ташевъ продолжалъ:

— Женщина, въ которую мы влюблены, можетъ быть некрасивою, да и что такое красота, какъ не условное понятіе? Но она должна сохранять въ себѣ нѣжныя чары, обаяніе вѣчно-женственнаго, таинственнаго и безотчетнаго. Тонкія, неуловимыя нити должны протянуться между нею и мужчиною, прежде чѣмъ ихъ соединитъ то, что мы называемъ любовью.

Лицо его, желтовато-блѣдное, оживилось и окрасилось. Глаза заиграли, и непріятно-крупные зубы чаще сверкали изъ подъ верхней, выпяченной, ярко карминоваго цвѣта губы.

IV.

Устрицы, холодныя и скользкія, на большомъ кругломъ блюдѣ. Клавдія Андреевна робко свернула себѣ на тарелку двѣ штуки, и въ замѣшательствѣ выжидала, пока ея собесѣдникъ тоже вооружится ножемъ, и покажетъ ей, что дѣлать съ этимъ невиданнымъ ею блюдомъ.

— Съ лимономъ или такъ?—спросилъ онъ, услужливо протягивая ей хрустальную тарелочку съ желтыми кружками и золоченою вилочкою.

Вдругъ она почувствовала, что краснѣетъ, отъ корней волосъ до плечъ, какъ краснѣютъ, сознавая безвыходность положенія. Онъ, должно быть, понялъ, взялъ ножъ, ловко раскрылъ имъ створку, и быстро опрокинулъ въ ротъ скользкій комокъ.

Клавдія Андреевна почувствовала къ нему благодарность и даже нѣчто въ родѣ расположенія. Онъ избавилъ ее отъ первыхъ мучительныхъ минутъ. Но что будетъ дальше?

Было жутко и любопытно, и все время, какъ во снѣ, какъ въ туманѣ. Потомъ снова вино, золотистые бокалы, золотые ломтики ананаса на хрустальной тарелкѣ, и снова, тусклые сквозь туманъ, разговоры о красотѣ, о женщинахъ, о любви.

— Что такое красота,—никто изъ насъ не знаетъ, но только стремится познать. И притомъ вѣдь не въ этомъ дѣло.

„Ты сегодня совсѣмъ не красива,
Но особенно какъ-то мила,“

продекламировалъ Ташевъ, любившій щегольнуть знаніемъ новыхъ поэтовъ, иностранной литературы, бывавшій на всѣхъ первыхъ представленіяхъ и парадныхъ спектакляхъ. Какъ только онъ успѣвалъ! Студентамъ читать лекціи, предсѣдательствовать на всевозможныхъ ученыхъ и полуученыхъ собраніяхъ, ѣздить въ заграничныя командировки, писать книгу.

V.

Рядомъ въ большомъ кабинетѣ шло настоящее веселье. Слышались звуки матчиша, кекъ-уока, отрывки цыганскихъ и опереточныхъ мотивовъ. Разбитый истерическій голосъ порою пытался вытянуть на высокихъ нотахъ:

„Я поцѣлуями покрою...“

но каждый разъ срывался на одномъ и томъ же мѣстѣ, и горестно взвизгивалъ:

— Не могу, не могу!

Кто-то на что-то жаловался уже совсѣмъ пьянымъ голосомъ, кого-то утѣшали, кто-то звучно цѣловался, стараясь заглушить поцѣлуи взрывами хохота. Шалая, пестрая и пьяная, должно быть, была компанія!

Ташевъ сказалъ, наливая вино въ бокалъ Клавдіи Андреевны:

— Вотъ какъ люди веселятся, а мы съ вами еще и первой бутылки шампанскаго не роспили. Я пью за женщинъ

интересныхъ, умныхъ, съ такими прекрасными глазами, какъ у моей очаровательной собесѣдницы.

И неожиданнымъ движеніемъ, быстро наклонившись, поцѣловалъ у Клавдіи Андреевны руку.

Неожиданность смутила, но не поразила ее. Вѣдь этого она и ждала, къ этому и готовилась, подымаясь еще два часа тому назадъ съ бьющимся сердцемъ по обитой ковромъ подъ бронзою прутьевъ лѣстницѣ первокласснаго ресторана. И у нея такъ рѣдко цѣловали руку! Отъ этого поцѣлуя, бѣглаго и неожиданнаго, трепетно сіяющая протянулась нить отъ него къ ней, нить невидимая, но значительная.

Онъ пододвинулся къ ней, такъ что на узкомъ диванчикѣ уже не было между ними мѣста, положилъ свою руку, желтоватую, съ темными, рѣзко выдѣляющимися волосами, на ея небольшую смуглую пясть, и говорилъ уже интимнымъ тономъ, которому старался придать оттѣнокъ задушевности:

— Единственный недостатокъ нашихъ эмансипированныхъ женщинъ,—это то, что онѣ все же, несмотря на свободу мысли, не хотятъ такой же свободы для тѣла. По моему, гармоническое развитіе личности должно соединять въ себѣ и то и другое.

Клавдія Андреевна смотрѣла на смуглое чужое лицо, слушала эти пыльныя слова, знакомыя по романамъ, и какъ-то переставала чувствовать странность своего положенія, и своей близости къ этому, совсѣмъ ей чужому, второй разъ въ жизни видѣнному ею человѣку. Равнодушіе, тупое и безразличное, овладѣло ею.

„Все равно, все равно“,—мелькало въ ея утомленной отуманенной головѣ.

Жизнь, такая сѣрая, такая безжалостная, не сегодня завтра все равно придавитъ. И передъ Клавдіею Андреевною мелькнула унылая полоса безрадостныхъ годовъ, молодость, проходящая безъ увлеченій, въ докучныхъ заботахъ о заработкѣ, въ мелкихъ огорченіяхъ, и въ тщетныхъ попыткахъ полюбить, найти „человѣка“,—друга, мужа.

VI.

Пьяный гулъ рядомъ ей вдругъ напомнилъ, какъ въ прошломъ году на масленицѣ она ѣхала въ вагонѣ третьяго класса ночью, вызванная телеграммою въ Калугу, гдѣ застрѣлился младшій ея братъ, студентъ. На сосѣдней съ нею полкѣ рядомъ въ вагонѣ примостилась пьяная развеселая пара, мастеровой съ гармоникою и женщина, можетъ быть, проститутка, его подруга на эту ночь.

Всю эту ужасную ночь Клавдія Андреевна, точно въ тяжкомъ чаду, оцѣпенѣвъ, не сомкнула глазъ, и всю ночь взвизгивала гармоника, лихо гаркалъ мастеровой, и орала пьяныя пѣсни пьяная проститутка.

Клавдія Андреевна ѣхала къ себѣ, въ семью. Эта семья собиралась только тогда, когда съ кѣмъ-нибудь изъ членовъ ея случалось несчастье,—смерть, ссылка, проводы на войну. Теперь готовились хоронить младшаго брата. Такъ, въ эти печальныя мгновенія жизни собирались они всѣ, некрасивые, неудачники, каждый со своею отравою въ душѣ, молча толпились возлѣ гроба или возлѣ поѣзда, не знали и не умѣли сказать ничего утѣшительнаго другъ другу. Толпою химеръ, сѣрыхъ и унылыхъ, стояли они, обмѣниваясь тусклыми взглядами и сѣрыми словами.

Въ эту истомную ночь она позабыла обо всемъ этомъ, и въ тупомъ оцѣпенѣніи слушала пьяный визгъ, брань, поцѣлуи, визгливую гармонику. Не все ли равно,—казалось и тогда,—не сегодня завтра жизнь придушитъ, не все ли равно?

Повернулась на жесткой скамейкѣ, и вдругъ закашлялась отъ чада махорки. За невысокою стѣнкою хрипло смѣялась проститутка.

— Дохаетъ кто-то, барышня, кажись,—раздался ея противно-простуженный голосъ.

Тощій парень съ зеленымъ лицомъ и колючимъ взоромъ сѣрыхъ глазъ высунулся на минуту изъ-за перегородки.

Укололъ взоромъ Клавдію Андреевну, и вдругъ лицо его стало презрительно скучнымъ. Отвернулся.

Изъ-за перегородки слышался его пьяный, наглый голосъ:

— Морда отпѣтая, дохаетъ туда же, ни какъ красавица.

— Мордолизація!—хрипло взвизгнула проститутка.

Острое жало обиды прокололо насквозь бѣдное сердце тоскующей дѣвушки.

VII.

Вспомнила теперь эту ночь, и эту обиду, и опять стыдною болью заныло сердце. Такою болью, что словно разлилась боль по всему тѣлу, по всему вдругъ закраснѣвшемуся тѣлу, и вдругъ ударила по нерву болѣвшаго надняхъ зуба,—который собиралась, да такъ и не успѣла запломбировать.

Ташевъ участливо глянулъ на ея вдругъ исказившееся болью лицо.

— Что съ вами?—спросилъ онъ, нагибаясь къ ней, и обдавая ее легкимъ ароматомъ вина.

— Зубъ разболѣлся,—сказала она.

И брызнули жалкія, мелкія слезы. Невольно. Лепетала:

— Ничего. Это сейчасъ пройдетъ.

Что-то говорилъ Ташевъ,—едва слышала сквозь багровый туманъ, кружащій голову, едва понимала, что слышала.

— Возьмите воды, пополощите зубы.

Едва сознавала, что, повинуясь ему, идетъ куда-то, и онъ поддерживаетъ ее ласково и бережно подъ локоть лѣвой руки. Передъ самыми глазами заколебались багрово-тяжелыя складки портьеры.

— Здѣсь есть вода. Позвольте, я вамъ помогу.

Откинулъ тяжелыя складки. Повернулъ выключатель,—и вдругъ неяркимъ свѣтомъ электрической лампочки въ потолкѣ озарился тѣсный альковъ,—сѣрый мраморъ умывальника съ мѣдными, красивыми кранами, и громоздкая, нагло громадная кровать.

Такъ стыдно было стоять около этой кровати. Налилъ ей воды. Взяла ее въ ротъ, на больной зубъ. Боль утихла. Клавдія Андреевна лепетала несвязно:

— Благодарю васъ. Мнѣ легче. Прошло.

Повернулась.—уйти изъ алькова. Навстрѣчу ей—улыбка и блестящіе, непріятно-крупные зубы.

— Подождите, успокойтесь, не торопитесь, — говорилъ Ташевъ.

Слегка задыхался, и глаза его блестѣли лукавыми и страстными огоньками. Клавдія Андреевна почувствовала на своей тальѣ прикосновеніе его жаркой руки.

Онъ шепталъ:

— Вы устали. Прилягте. Отдохните. Это васъ лучше всего успокоитъ.

Совсѣмъ близко наклонился къ ней. Ласковыми, но настойчивыми движеніями подвигалъ ее къ мягкимъ успокоеніямъ слишкомъ нарядной кровати.

Стыдливый ужасъ вдругъ охватилъ ее. Дикимъ порывомъ оттолкнула Ташева, и бросилась изъ алькова, вся красная, вся трепетная.

Схватилась за шляпку. Ташевъ растерянно повторялъ:

— Клавдія Андреевна, да что же это? Да что съ вами? Да вы успокойтесь. Я же, право, не понимаю. Кажется, я...

Дрожащими руками, не попадая куда надо, Клавдія Андреевна пыталась приколоть шляпку. Шпилька выпала изъ ея дрожащихъ рукъ, и на паркетѣ звякнула и заблестѣла ея крупная, стеклянно-синяя головка.

Ташевъ, бормоча что-то, и видимо сердясь, подходилъ къ Клавдіи Андреевнѣ. Она испуганно взвизгнула, схватила свою легкую накидку, и бросилась вонъ изъ кабинета. Слышала за собою обрывки восклицаній Ташева:

— Я не понимаю! Это Богъ знаетъ что! Зачѣмъ же!

Ресторанные лакеи съ удивленіемъ смотрѣли на стремительно бѣгущую мимо нихъ барышню.

VIII.

Клавдія Андреевна быстро шла, почти бѣжала, по шумнымъ городскимъ улицамъ. Привычною дорогою добѣжала до того дома, гдѣ живетъ Опричина, и уже поднялась до половины лѣстницы, и вдругъ такъ же стремительно повернула обратно, и опять очутилась на улицѣ.

То шла, то останавливалась. Поправила свалившуюся шляпку, заколовъ ее единственною оставшеюся шпилькою. Сѣла въ первый попавшійся трамвай, и сидѣла тамъ, тупо, безъ мыслей, красная, несчастная на видъ, пока всѣ не стали выходить, и кто-то въ темнотѣ не сказалъ скучнымъ, злымъ голосомъ:

— Пріѣхали. Дальше не пойдетъ.

Вышла. Осмотрѣлась.

Городская окраина. Маленькіе сѣрые домишки. Сбитыя плиты узкаго тротуара. Чахлая, но весело-зеленѣющая и сквозь вечернюю мглу травка межъ камней въ мостовой.

Пошла наудачу. Шла усталая, тихая, безвольная. Ночь была кругомъ, и тишина, и полутемно, и печаль на землѣ, и пустынная синева надъ землею.

Казалось, что плачетъ кто-то, забытый и ненужный. Влажный вешній воздухъ былъ тихъ и печаленъ. Пахло водою. Свирѣльный въ ночной тишинѣ доносился откуда-то неиздалека стонъ.

IX.

Вдругъ Клавдія Андреевна различила, что это—звуки скрипки. Игралъ кто-то, точно плакала скрипка надъ милымъ, успокоеннымъ прахомъ. Клавдія Андреевна пошла по тому направленію, откуда къ ней доносились эти звуки.

Вотъ,—бѣдный, тихій домъ, весь темный. Калитка. Со двора доносился тонкій плачъ тоскующей скрипки.

Клавдія Андреевна вошла во дворъ. Слабый свѣтъ виднѣлся сквозь занавѣску окна въ глубинѣ двора. По шат-

кимъ доскамъ узкихъ мостковъ Клавдія Андреевна подошла къ окну. Стояла, и слушала долго у открытаго окна.

На высокой, долгой, стенящей нотѣ замерли свирѣльные вопли. Слышно было, какъ съ тихимъ стукомъ легла скрипка на столъ, и слышны были быстрые, неровные шаги взадъ и впередъ.

Что это было, легкій ли вѣтеръ отдернулъ край занавѣски, сама ли Клавдія Андреевна слегка отвела ее кончиками вздрагивающихъ пальцевъ,—но она увидѣла музыканта.

Это былъ молодой человѣкъ въ студенческой тужуркѣ, съ нервнымъ, блѣднымъ, измученнымъ лицомъ, съ густыми, вьющимися круто и упрямо волосами, торчащими спутанною копною надъ крутизною упрямо выпуклаго лба, съ порывистыми движеніями и съ угловатымъ, рѣзкимъ жестомъ сухихъ рукъ, быстро ерошащихъ волосы. Студентъ ходилъ, метался по комнатѣ,—и въ движеніяхъ его была тоска, и въ лицѣ его дрожало томленіе тягостное до смерти.

Бездонно-черный взоръ его глазъ остановился на минуту на лицѣ Клавдіи Андреевны,—но было ясно, что студентъ не увидѣлъ ее, ночной, случайной, невѣдомо какъ сюда пришедшей дѣвушки. И въ бездонно-черномъ взорѣ его глазъ таилось томленіе, безумное, послѣднее томленіе человѣка.

X.

Во всей обстановкѣ бѣдной комнаты, заурядного логовища для одинокаго отъ хозяевъ, было что-то неуловимо-значительное. Какой-то внезапный, странный, тоскливый безпорядокъ мѣста, гдѣ есть умирающіе.

На столѣ, среди книгъ и всякаго обычнаго скарба, между коробкою папиросъ и недопитымъ стаканомъ чая, лежала слишкомъ прямо положенная и видимо только-что написанная записка. Ящикъ въ столѣ былъ слегка выдви-

нутъ, и это почему-то особенно бросалось въ глаза, словно въ этомъ было что-то значительное.

А можетъ быть, такъ показалось Клавдіи Андреевнѣ потому, что едва она увидѣла этотъ слегка выдвинутый ящикъ, какъ уже студентъ подошелъ къ нему, и, неловко сутулясь, сталъ шарить въ немъ.

Клавдія Андреевна съ жаднымъ любопытствомъ ждала, что онъ вынетъ изъ ящика. Настойчиво, какъ злое внушеніе, вмѣстѣ съ тяжелымъ стучаніемъ крови въ ея вискахъ, повторялось одно, улично-обычное слово:

— Револьверъ, револьверъ.

И оправдалось злое внушеніе, злое предчувствіе. Студентъ отошелъ отъ стола, и въ его рукѣ Клавдія Андреевна увидѣла стальной блескъ маленькаго, изящнаго, какъ дѣтская игрушка, оружія.

Рѣзкимъ жестомъ свободной руки студентъ взъерошилъ свои упрямые кудри, и поднялъ револьверъ къ виску.

Глаза у него расширились. Рука странно колебалась въ воздухѣ, устанавливая дуло револьвера на удобное положеніе.

Потомъ опустилъ руку, глянулъ въ дуло револьвера, еще разъ размашисто взъерошилъ волосы, крикнулъ отрывисто и громко:

— Баста!

И рѣшительнымъ движеніемъ взмахнулъ револьверомъ къ головѣ.

Внезапный женскій вопль заставилъ его дрогнуть. Всмотрѣлся.

XI.

Порывистымъ движеніемъ обѣихъ рукъ раздернувъ занавѣску, Клавдія Андреевна отчаянно крикнула:

— Милый, милый! Зачѣмъ? Не надо!

Студентъ увидѣлъ, что незнакомая, некрасивая дѣвушка лѣзетъ къ нему въ окно, неловко цѣпляясь руками за раму,

задѣвая за что-то платьемъ, — неловкая, съ кое-какъ сидящею на растрепанныхъ волосахъ шляпкою, съ лицомъ красным, взволнованнымъ, несчастнымъ, облитымъ слезами, искаженнымъ рыдающими гримасами.

Лѣзетъ, такая смѣшная, забавная, заплаканная, и повторяетъ слезливо и жалобно:

— Миленькій, не надо, не надо!

Студентъ сунулъ револьверъ въ ящикъ стола, бросился къ окну, и, бормоча что-то несвязное, помогъ нежданной гостьѣ перелѣзть подоконникъ.

Полная возбужденіями послѣднихъ дней, она бросилась къ нему, обняла его, и, плача, повторяла безъ конца:

— Милый, хорошій, не надо,—живи, люби меня, живи, я тоже несчастная.

— Извините, — сказалъ студентъ, — вы успокойтесь. Можетъ быть, чаю?

Клавдія Андреевна засмѣялась, все еще плача. Говорила:

— Не надо, не надо, ничего не надо. И этой игрушки не надо. Вотъ, если вы дошли до того, что уже нечѣмъ жить,—душевно нечѣмъ,—то вотъ, и я тоже, и если мы захотимъ, развѣ нельзя, развѣ такъ ужъ совсѣмъ нельзя сотворить жизнь по нашей волѣ, и жизнь, и любовь, и смерть? Вотъ послушайте.

Разсказывала ему о себѣ долго, сбивчиво, подробно, откровенно по-дѣтски. Все разсказала. И опять вернулась къ обидамъ, жгущимъ сердце уколами тысячи пчелиныхъ жалъ. Смѣясь и плача говорила:

— Онъ говоритъ,—морда, дохаетъ туда же,—это, что я закашлялась отъ его махорки. А она говоритъ,—мордолизанія. И оба смѣются. Морда! Ну и пусть, и пусть!

Студентъ взъерошилъ свои лохмы, рѣзкимъ, привычнымъ жестомъ вскинувъ руки какъ-то слишкомъ вверхъ, и сказалъ утѣшающимъ голосомъ:

— Ну, это наплевать. Я тоже морда порядочная.

И вдругъ засмѣялись оба. И не было уже смертнаго то-

мленія въ его глазахъ и въ ея душѣ. Онъ подошелъ къ ней близко, и обнялъ ее порывисто, и поцѣловалъ звучно, весело и молодо въ ея радостно дрогнувшія губы. Сказалъ:

— Эту ерунду къ чорту!

И сердито захлопнулъ ящикъ стола.

И она цѣловала его, и повторяла:

— Милый, милый, мой! Люби меня, люби меня, цѣлуй меня,—будемъ жить вмѣстѣ, и умремъ вмѣстѣ.

„Легче вдвоемъ.
Если не сможемъ итти,
Вмѣстѣ умремъ на пути,
Вмѣстѣ умремъ“.

Такъ, убѣжавъ отъ буйнаго неистовства неправой жизни, пришли они къ вожделѣнному Дамаску, въ союзѣ любви, сильной, какъ смерть, и смерти, сладостной, какъ любовь.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ІУДА.

I.

Дѣла инженера Генриха Зонненберга были теперь въ очень сложномъ и деликатномъ положеніи. Вся его судьба висѣла на волоскѣ. Очень обширныя, смѣлыя предпріятія, начатыя Генрихомъ Зонненбергомъ, оказывались такой природы и такого свойства, для которыхъ готовится, по выраженію Некрасовской поэмы о современникахъ, „въ результатѣ милліонъ или коническая пуля". Широта, быть можетъ, геніальная, его замысловъ граничила съ преступностью дерзкой воли.

Въ настоящій моментъ вся судьба и предпріятій Генриха Зонненберга и самой его жизни зависѣла отъ того, какое слово напишетъ на одномъ, уже изготовленномъ, но еще не пущенномъ въ ходъ, докладѣ одно весьма вліятельное, высокопоставленное лицо.

Можетъ быть, оно начертаетъ на поляхъ ослѣпительно-бѣлой и умопомрачительно-аккуратно написанной на ремингтонѣ офиціальной бумаги быстрыми и отрывочными движеніями своего остро-отточеннаго карандаша вожделѣнныя буквы „со св. ст. не н. пр.", что обозначаетъ „со своей стороны не нахожу препятствій". Тогда Генрихъ Зонненбергъ вздохнетъ свободно. Въ карманы его польются чужіе мил-

ліоны. Безумно-дорогая вилла на Ривьерѣ, которую онъ уже присмотрѣлъ, будетъ принадлежать ему.

Но можетъ случиться и совсѣмъ иначе. Быть можетъ, на пергаментно-желтомъ лицѣ стараго сановника мелькнетъ презрительно-суровая усмѣшка, въ его маленькихъ, еще по-молодому яркихъ глазахъ затеплятся злые огоньки, и маленькая сухая рука, энергично сжимая карандашъ, броситъ на бумагу крупныя, страшныя буквы „откл.“—что будетъ обозначать „отклонить“.

Тогда наступитъ полный крахъ. Будутъ предъявлены ко взысканію какіе-то нелѣпые векселя. Потомъ дѣлами Генриха Зонненберга заинтересуются прокуроры и судебные слѣдователи. Эти люди одержимы маніею видѣть признаки преступленія тамъ, гдѣ есть только ловкія и смѣлыя, хотя и рискованныя, конечно, комбинаціи. На неделикатномъ языкѣ юристовъ заговорятъ о подлогахъ, мошенничествахъ, растратахъ, вовлеченіяхъ въ невыгодныя сдѣлки, и еще Богъ вѣсть о чемъ.

Деньги изсякнутъ. Зизи выгонитъ Зонненберга. Милая графиня Мими не только изгонитъ его изъ своего сердца, но и не станетъ узнавать его при встрѣчахъ на улицахъ или въ собраніяхъ.

Но нѣтъ, до этого, конечно, не дойдетъ. Генрихъ Зонненбергъ не изъ тѣхъ, кто терпитъ униженія. Въ ящикѣ его письменнаго стола лежитъ револьверъ. На случай же внезапнаго ареста онъ носитъ при себѣ, въ хорошо-скрытомъ хранилищѣ, двѣ-три капли быстро и вѣрно дѣйствующаго яда.

Дерзкая рѣшимость покончить съ собою наполняетъ душу Генриха Зонненберга незаконнымъ подобіемъ храбрости. Но его красивое, смуглое лицо нравящагося женщинамъ брюнета становится часто мечтательнымъ, и глаза вдругъ начинаютъ глядѣть разсѣянно.

II.

Генрихъ Зонненбергъ сидѣлъ со своими пріятелями въ общей залѣ одного дорогого кабачка. На столѣ передъ ними въ вазѣ со льдомъ стояла бутылка шампанскаго, уже не первая.

На эстрадѣ выкрикивала что-то безголосая пѣвичка въ кургузомъ платьѣ нелѣпаго золотого цвѣта. Она показывала публикѣ свои толстыя икры, обтянутыя ярко-голубыми чулками, и порою свою голую набѣленную спину. Никто ея не слушалъ. Почти никто и не смотрѣлъ на нее.

Пріятели подшучивали надъ разсѣянностью и мечтательностью Генриха Зонненберга. Говорили:

— Нашъ Генрихъ влюбленъ опять.

— И ревнуетъ.

— Нѣтъ, онъ не ревнивъ. Онъ боится сцены ревности.

— Вѣрнѣе, сценъ: будетъ ревновать Зизи и еще другая.

— А кто другая?

— О, это его секретъ.

Генрихъ Зонненбергъ улыбался лѣниво, и кое-какъ отшучивался. Его любовныя приключенія были общеизвѣстны,— кромѣ, конечно, его отношеній къ графинѣ Мими, о которыхъ не зналъ никто.

Подшучивали. Не знали настоящей причины. Генрихъ Зонненбергъ велъ свои дѣла такъ, что еще никто не догадывался о ихъ настоящемъ положеніи. А если бы они знали!

Генрихъ Зонненбергъ даже вздрогнулъ слегка, когда ему пришла въ голову мысль о томъ, какія злорадныя лица были бы у этихъ его милыхъ друзей, если бы они знали хотя только часть истины.

III.

Чтобы перевести разговоръ на другія темы, Генрихъ Зонненбергъ спросилъ вполголоса одного изъ своихъ собутыльниковъ, Сержа Котелянскаго, который зналъ всѣхъ въ

городѣ, почти со всѣми былъ хорошъ, или, по крайней мѣрѣ, знакомъ, и былъ вхожъ въ неисчислимое количество домовъ:

— Кто это?

И показалъ легкимъ, едва замѣтнымъ движеніемъ головы на пробиравшагося между рядами столиковъ къ оставленному для него мѣсту близъ эстрады очень моложаваго господина, элегантно одѣтаго и какъ-то странно-красиваго.

Красота его лица была несомнѣнна, но было въ ней что-то противное и даже какъ-будто позорное. Цвѣтъ его лица былъ чрезмѣрно нѣженъ, бѣлъ и румянъ. Золотистые волосы его вились такъ круто, словно были завиты. Глаза его глядѣли томно и нагло, и маслянистый блескъ ихъ казался неприличнымъ. Черты лица его были чрезвычайно правильны, и античный профиль его отличался изысканною строгостью очертаній. Рыжеватая, коротко-подстриженная бородка нарушала чистоту этихъ строгихъ линій, но зато она какъ бы подчеркивала лукавый, порочный характеръ этого противорѣчиваго лица. Въ сладкой упитанности его тѣла было что-то безстыдное и притомъ волнующее.

Сержъ Котелянскій поклонился новому посѣтителю съ очень почтительнымъ выраженіемъ. Тотъ отвѣтилъ ему дружескимъ кивкомъ и любезною улыбкою. Потомъ сѣлъ къ своему столику. Тамъ уже его ждали двѣ сильно-накрашенныя наглыя женщины и потертый, но бойкій господинъ во фракѣ.

Сержъ Котелянскій сказалъ Генриху Зонненбергу:

— Вотъ! Неужели ты его не знаешь?

Генрихъ Зонненбергъ съ легкою улыбкою отвѣчалъ:

— Правда, не знаю.

Сержъ Котелянскій сказалъ внушительно:

— Ну, я тебѣ скажу, это—человѣкъ, котораго надо знать.

Генрихъ Зонненбергъ возразилъ недовѣрчиво:

— Вотъ какъ! Даже надо!

Сержъ Котелянскій настаивалъ оживленно:

— Да, да, именно надо. У него связи и вліяніе прямо-таки удивительные. Это—Іуда Искаріотъ.

Генрихъ Зонненбергъ жадно всматривался въ знаменитаго человѣка. Сержъ Котелянскій разсказывалъ съ обычною своею развязанностью:

— Я какъ-то его спрашиваю, знаешь, во время откровенной болтовни: Послушай, говорю, Іуда, съ чего ты взялъ себѣ такой странный и страшный псевдонимъ? Развѣ, говорю, ты не могъ бы подписывать своихъ статеекъ болѣе благозвучнымъ именемъ? Да вѣдь ты, говорю, наконецъ, даже вовсе и не Іуда.

Генрихъ Зонненбергъ спросилъ:

— А какъ его настоящее имя?

Сержъ Котелянскій отвѣтилъ:

— Его зовутъ Іосифъ Аристарховичъ Эдельвейсъ. Не правда ли, звучное имя?

Съ легкою усмѣшкою сказалъ Генрихъ Зонненбергъ:

— Слишкомъ звучное.

Сержъ Котелянскій возразилъ:

— Ну, вовсе не слишкомъ. Да не въ томъ дѣло. А можете вы себѣ вообразить, что онъ мнѣ отвѣтилъ?

— А что?—спросилъ Генрихъ Зонненбергъ.

Сержъ Котелянскій разсказывалъ:

— Представьте себѣ,—это прямо безподобно,—онъ мнѣ говоритъ: я и есть Іуда Искаріотъ. Я его спрашиваю,—тотъ самый? А онъ мнѣ самымъ спокойнымъ тономъ говоритъ: да, тотъ самый. И совершенно серьезно.

Генрихъ Зонненбергъ предположилъ:

— Онъ шутилъ, можетъ быть?

Одинъ изъ друзей сказалъ:

— Или ты, Сержъ, шутишь.

Сержъ Котелянскій обидчиво сказалъ:

— Ну, вотъ, съ чего мнѣ врать! Потомъ я узналъ, что это у него нѣчто въ родѣ маніи,—воображать, что онъ—второй разъ родившійся Іуда.

IV.

Генрихъ Зонненбергъ задумался. Потомъ сказалъ такимъ тономъ, что нельзя было понять, шутитъ онъ, или говоритъ серьезно:

— Да, съ нимъ не мѣшаетъ быть знакомымъ. Это именно тотъ, кто нуженъ.

Друзья стали подшучивать надъ Генрихомъ Зонненбергомъ. Говорили, что Іуда Искаріотъ, пожалуй, и не возьмется за устройство любовныхъ дѣлъ.

Генрихъ Зонненбергъ, не смущаясь, возразилъ спокойно:

— Мое дѣло, можетъ быть, его заинтересуетъ. Я сумѣю его заинтересовать. Сержъ, ты можешь меня съ нимъ познакомить?

Сержъ Котелянскій слегка покраснѣлъ отъ гордости, и сказалъ:

— Ну, конечно. Мы съ нимъ очень хороши.

Генрихъ Зонненбергъ сказалъ:

— И если можно, сегодня же.

— Можно и сегодня. Только...

Сержъ Котелянскій сдѣлалъ серьезное лицо, и продолжалъ:

— Я долженъ тебѣ вотъ что сказать, если ты хочешь чего-нибудь черезъ него добиться. Это всѣ знаютъ, что онъ умѣетъ провести всякое дѣло. Чортъ его знаетъ, какъ онъ это дѣлаетъ. Но, чтобы воспользоваться его услугами, надо выполнить одно, нѣсколько, какъ бы тебѣ сказать... ну, скажемъ, щекотливое условіе.

Генрихъ Зонненбергъ нетерпѣливо спросилъ:

— А именно?

Сержъ Котелянскій нагнулся къ самому его уху, и зашепталъ:

— Надо совершить маленькую нескромность, — выдать ему чей-нибудь секретъ, принести какое-нибудь важное секретное письмо, ну, или что-нибудь въ этомъ же родѣ. Понимаешь? На это, понятно, не всякій пойдетъ, потому-что

не у всякаго есть что-нибудь такое, чѣмъ можно кого-нибудь выдать,—но онъ не брезгаетъ и маленькими секретами, интрижками какими-нибудь.

Потомъ, отодвинувшись отъ Генриха Зонненберга, уже обыкновеннымъ тономъ,—потому что въ общей залѣ ресторана неудобно и непрактично секретничать такъ долго, чтобы всѣ обратили вниманіе,—Сержъ Котелянскій сказалъ:

— Не правда ли, это чортъ знаетъ, что такое! Но, можетъ быть, онъ такимъ способомъ именно и пріобрѣтаетъ способность вліять.

Генрихъ Зонненбергъ спокойно отвѣтилъ:

— Весьма возможно.

Сержъ Котелянскій сказалъ наставительно:

— Такъ вотъ видишь, если хочешь имѣть съ нимъ дѣла, такъ его надо заинтересовывать, а это не такъ то легко, не правда ли?

Генрихъ Зонненбергъ холодно усмѣхнулся и спокойно сказалъ:

— Я его заинтересую.

Сержъ Котелянскій посмотрѣлъ на Генриха Зонненберга съ уваженіемъ.

V.

Въ тотъ же вечеръ знакомство состоялось. „Съ мѣста въ карьеръ“ Генрихъ Зонненбергъ сталъ дѣлать Іудѣ Искаріоту кое-какіе „авансы“. Іуда Искаріотъ относился къ этому благосклонно.

Іуда Искаріотъ со всѣми всегда былъ любезенъ и милъ. Теперь онъ чувствовалъ, какъ опытный психологъ, что Генриху Зонненбергу что-то отъ него нужно, что цѣною крупной услуги будетъ и достаточно крупное предательство.

На другой вечеръ Генрихъ Зонненбергъ опять встрѣтился съ Іудою Искаріотомъ въ другомъ такомъ же увеселительномъ заведеніи. Угостилъ Іуду Искаріота ужиномъ, и этотъ ужинъ вскочилъ ему въ копеечку.

Во время ужина Генрихъ Зонненбергъ улучилъ минуту шепнуть Іудѣ Искаріоту, что у него есть къ нему интересное дѣло. Подчеркнулъ выраженіемъ слово интересное. Прибавилъ для большой ясности:

— И еще мнѣ хочется принести вамъ кое-что. Надѣюсь, что это вамъ будетъ хоть немножко интересно.

Іуда Искаріотъ переспросилъ:

— Нѣчто интимное?

Генрихъ Зонненбергъ отвѣтилъ:

— Да, весьма интимное.

Іуда Искаріотъ засмѣялся весело. Генрихъ Зонненбергъ невольно вздрогнулъ отъ какого-то жуткаго, противнаго чувства. Іуда Искаріотъ не обратилъ, повидимому, на это никакого вниманія.

Іуда Искаріотъ привыкъ къ тому, что его собесѣдники иногда не могли скрыть по отношенію къ нему своего брезгливаго чувства. Онъ находилъ это очень глупымъ, но не обижался. Ему было все равно, что о немъ думаютъ люди. Самъ же онъ считалъ ихъ подлыми и на все способными.

Іуда Искаріотъ назначилъ Генриху Зонненбергу день и часъ для свиданія.

VI.

Этотъ часъ насталъ. Генрихъ Зонненбергъ пріѣхалъ къ Іудѣ Искаріоту. Въ карманѣ сюртука Генриха Зонненберга лежали пачка писемъ графини Мими, и пачка бумагъ, украденныхъ ею по его просьбѣ изъ кабинета ея мужа.

Подъѣзжая къ подъѣзду двухъэтажнаго бѣлаго особняка, очень красивой архитектуры, гдѣ жилъ Іуда Искаріотъ, Генрихъ Зонненбергъ подумалъ:

„Предатели живутъ недурно!“

Да, Искаріотъ жилъ превосходно. Но описывать обстановку его палатъ не стоитъ. Всѣ вещи были дорогія, и все было устроено съ большимъ вкусомъ приглашенными для этого дѣла за большія деньги мастерами. Но слишкомъ чувствовалось, что все это куплено за деньги. Ни на чемъ

не было отпечатка живой души, того соотвѣтствія съ характеромъ хозяевъ и ихъ домочадцевъ, которое бываетъ во всѣхъ настоящихъ жилищахъ человѣческихъ, дворцахъ такъ же, какъ и въ нищенскихъ лачугахъ.

Всю душу свою Іуда Искаріотъ носилъ съ собою, и не расточалъ ее на вещи.

Былъ уютъ просторнаго кабинета, и сигары дымились. Мраморный Мефистофель, согнувшись въ три погибели, неустанно демонстрировалъ свою пустынно-злобную улыбку, свои тощія ребра, и диковинные изломы своего голаго, дьявольски-непорочнаго тѣла.

VII.

Генрихъ Зонненбергъ подробно и ясно, со свойственнымъ ему талантомъ убѣдительнаго, врѣзывающагося въ память изложенія, разсказалъ свои обстоятельства. Былъ откровененъ. Въ сущности, ему теперь нечего было терять, а выиграть онъ могъ очень много.

Іуда Искаріотъ выслушалъ внимательно. Сказалъ, глядя прямо въ глаза Генриха Зонненберга своими противно-ясными глазами:

— Возможно, что я что-нибудь и смогу для васъ сдѣлать. Но мое правило: услуга за услугу.

Генрихъ Зонненбергъ поспѣшно сказалъ:

— Я готовъ.

Іуда Искаріотъ усмѣхнулся отвратительно-любезно, остановилъ Генриха Зонненберга легкимъ движеніемъ руки, на пальцѣ которой переливнымъ многоцвѣтнымъ блескомъ зыбко засмѣялся крупный бриллiантъ, и сказалъ:

— Услуга за услугу, и откровенность за откровенность. Видите ли, я не даромъ принялъ исторически-извѣстное имя взамѣнъ моего мѣщански-благопристойнаго прозвища.

Сѣрый пепелъ падалъ съ его сигары, потому что Іуда Искаріотъ чертилъ ея пламенѣющимъ концомъ въ безмолвномъ воздухѣ какой-то запутанный узоръ. Петли этого узора гипнотизировали Генриха Зонненберга, глаза его прикова-

лись къ красному глазу сигары, и отвратительно звучный голосъ Іуды Искаріота доносился до его слуха какъ будто издалека, но съ безпощадною, бичующею ясностью.

VIII.

Іуда Искаріотъ говорилъ, развалясь въ своемъ покойномъ креслѣ:

— Нѣкоторые думаютъ, что это—только моя странная причуда. Но я—истинный Іуда Искаріотъ, тотъ самый, который когда-то копилъ жалкіе гроши, торговался съ почтенными старцами синедріона, предалъ Учителя за тридцать сребренниковъ, потомъ удавился. О, это очень тяжелый видъ смерти! До сихъ поръ помню рѣзкое ощущеніе веревки, обвившейся вокругъ моей шеи. Я тогда былъ наивенъ и глупъ.

Іуда Искаріотъ засмѣялся. Говорилъ:

— Подумать, какіе-то жалкіе тридцать сребренниковъ! Какъ бы то ни было, эти вѣка, которые я томился въ области, невѣдомой людямъ, не прошли для меня даромъ. Я вдругъ почувствовалъ, что созрѣла пора болѣе совершенныхъ предательствъ. И вотъ я родился вторично.

Генрихъ Зонненбергъ спросилъ:

— Зачѣмъ?

Іуда Искаріотъ отвѣтилъ со спокойною, дѣловитою обстоятельностью:

— Чтобы развить великое дѣло предательствъ на раціональныхъ основаніяхъ. Вы, конечно, согласитесь со мною, что и исторія, и наблюденія надъ современностью учатъ насъ этой простой истинѣ: человѣчество нуждается въ предателяхъ. Предательство—не случайное преступленіе, совершаемое какими-то исключительными злодѣями, а совершенно необходимый во многихъ обстоятельствахъ и вполнѣ естественный актъ. Только животныя могутъ быть правдивы и вѣрны, потому что они не одарены рѣчью, а рѣчь обладаетъ способностью чрезвычайною ко лжи. Помните у Тютчева?

Генрихъ Зонненбергъ припомнилъ:

— «Мысль изреченная есть ложь».

— Вотъ именно,—сказалъ Іуда Искаріотъ.—Животное только дѣйствуетъ. Стало быть, оно обладаетъ только однимъ способомъ выраженія своей духовной жизни, и потому поневолѣ правдиво. Человѣкъ не только дѣйствуетъ, но и говоритъ. У него, слѣдовательно, два способа выраженія: одно онъ дѣлаетъ, другое онъ говоритъ. Такъ естественно въ человѣкѣ, особенно культурномъ, что его слово расходится съ его дѣломъ, такъ естественно, что онъ лжетъ, обманываетъ, клевещетъ,предаетъ. И замѣтьте, чѣмъ человѣкъ культурнѣе, тѣмъ болѣе ему приходится лгать. Вы согласны со мною, не правда ли?

IX.

Генрихъ Зонненбергъ сказалъ:

— Все, что вы говорите, очень остроумно и, можетъ быть, отчасти вѣрно.

Іуда Искаріотъ возразилъ:

— Скажите вполнѣ вѣрно, и вы будете совершенно правы. Человѣкъ не можетъ не лгать, потому что странно было бы ему не пользоваться этимъ превосходнымъ средствомъ борьбы,—иногда даже единственнымъ средствомъ слабаго противъ сильнаго. Припомните хотя бы ваше собственное дѣтство. Каково то вамъ было бы при нѣкоторыхъ непріятныхъ обстоятельствахъ, если бы вы строго держались тогда прекраснаго и одобряемаго всѣми сильными правила всегда говорить правду вашимъ почтеннымъ родителямъ? Вѣдь они, конечно, и васъ увѣряли, что руководствуются только желаніемъ вамъ добра?

Генрихъ Зонненбергъ засмѣялся. Сказалъ:

— Да, и такъ влетало достаточно.

Іуда Искаріотъ продолжалъ:

— Итакъ, иная ложь во спасеніе. Но, впадая въ крайность, когда уже ею начинаютъ злоупотреблять, ложь вызываетъ и наилучшее средство для борьбы съ нею, средство

такого же точно происхожденія и такой же природы, предательство всѣхъ видовъ, начиная съ невинныхъ дѣтскихъ проявленій наушничества и фискальства. Опять обращаюсь къ воспоминаніямъ изъ золотой, невозвратной поры дѣтства, этого святого, невиннаго возраста. Можетъ быть, и вамъ случалось иногда испытывать высокое удовлетвореніе, когда вамъ удавалось болѣе или менѣе ловко подвести обидчика подъ чувствительное наказаніе?

Генрихъ Зонненбергъ сказалъ:

— Да, это не лишено пріятности.

На лицѣ его отразилось злорадство старыхъ воспоминаній.

Іуда Искаріотъ посмотрѣлъ на него съ удовольствіемъ. Сказалъ:

— Впрочемъ, эту тему можно развивать безъ конца. Будемъ кончать. Повторю вкратцѣ: я поумнѣлъ, исправился; на пустяки, какъ тогда, не польщусь, и за тридцать цѣлковыхъ въ петлю не полѣзу. Да и вообще ни за что и ни за кого своей жизни не отдамъ. Живу только для себя, люблю только себя, вѣренъ только себѣ, и предать готовъ каждаго, кого только могу, но не иначе, какъ за весьма приличную плату. А предать я могу очень многихъ, потому что владѣю многими тайнами. Я могъ бы продать даже и такія цѣнности, на которыя пока еще нѣтъ покупателей. И потому я богатъ, меня уважаютъ, жизнь моя легка и пріятна, и умру я,—если, конечно, умру,—не качаясь въ петлѣ на осинѣ, и не подъ пулями стражниковъ, какъ разбойникъ Варрава, а „подъ плѣнительнымъ небомъ Сициліи, въ благовонной древесной тѣни, созерцая, какъ солнце пурпурное погружается въ море лазурное“, ну и такъ далѣе,—помните?

— Какъ не помнить!

— Такъ вотъ, перейдемъ, если вамъ угодно, къ дѣлу. Вы ждете отъ меня вполнѣ опредѣленной услуги, а именно, чтобы на докладѣ о вашемъ дѣлѣ была поставлена благопріятная резолюція. Такъ?

Генрихъ Зонненбергъ молча наклонилъ голову. Іуда Искаріотъ продолжалъ:

— Что же вы дадите мнѣ за это? Конечно, вы понимаете, что денегъ я не беру. Я жду отъ васъ большаго и лучшаго, жду того, что составляетъ смыслъ и цѣль всей моей жизни, поэзію моего существованія, жду того, для чего я возсталъ изъ мертвыхъ, преодолѣвъ тяготѣніе многовѣкового могильнаго сна,—словомъ, жду предательства. Кого же вы мнѣ сегодня предадите?

Генрихъ Зонненбергъ слегка поблѣднѣлъ, но отвѣтилъ безъ малѣйшаго колебанія:

— Графиню Марію Картомину и ея мужа.

Іуда Искаріотъ радостно улыбнулся и сказалъ:

— Признаться, я такъ и думалъ. Ваша любовница и ея чванный супругъ. Хорошо. Ну-съ?

Онъ протянулъ руку къ Генриху Зонненбергу. Казалось, что уже онъ видитъ эти письма и эти бумаги сквозь черную ткань сюртука.

Генрихъ Зонненбергъ быстро вытащилъ изъ кармана обѣ пачки, и подалъ ихъ Іудѣ Искаріоту. И уже послѣ того слабо удивился этой почти мимовольной быстротѣ.

X.

Прошла едва минута, и Генрихъ Зонненбергъ уже пожалѣлъ, что отдалъ письма прежде, чѣмъ гарантировалъ себя чѣмъ-нибудь. Почти съ ненавистью смотрѣлъ онъ на Іуду Искаріота. Съ ненавистью, страхомъ и надеждою.

Іуда Искаріотъ читалъ письмо за письмомъ. Не видно было по его лицу, доволенъ ли онъ новымъ своимъ пріобрѣтеніемъ. Онъ сказалъ наконецъ очень спокойно:

— Мими васъ очень любитъ.

Генрихъ Зонненбергъ сказалъ:

— Да, она для меня готова на все.

Іуда Искаріотъ спросилъ съ неискреннимъ любопытствомъ:

— Правда? И эти бумаги?

И онъ принялся перелистывать похищенныя графинею Мими бумаги.

Генрихъ Зонненбергъ слегка смутился, но, пряча смущеніе подъ развязностью тона, сказалъ:

— Да, это ея рукъ дѣло.

Іуда Искаріотъ внимательно прочитывалъ бумагу за бумагою. Наконецъ, онъ сказалъ:

— Здѣсь есть кое-что очень цѣнное. Цѣнное, конечно, только для меня, въ связи съ тѣмъ, что я уже имѣю. Изъ писемъ графини Мими дѣйствительно интересно только одно. Остальныя, впрочемъ, я тоже оставлю себѣ на всякій случай. Что касается вашего дѣла, я постараюсь его устроить.

Іуда Искаріотъ улыбался. Смотрѣлъ прямо въ глаза Генриху Зонненбергу своими омерзительно-ясными глазами.

Вдругъ Генрихъ Зонненбергъ почувствовалъ, что голова его кружится, и ему показалось, что полъ качается подъ его ногами.

Страшная мысль внезапно поразила его:

„Гдѣ же ручательство въ томъ, что Іуда Искаріотъ исполнитъ свое обѣщаніе? Предать меня, какъ и другихъ, что стоитъ предателю?“

Но, словно читая его мысли, Іуда Искаріотъ сказалъ ему:

— Вы можете не сомнѣваться. На этотъ разъ я, по всей вѣроятности, васъ не обману. Едва ли мнѣ представится расчетъ предать васъ. Я даже разсчитываю, что вы еще будете мнѣ полезны. Конечно, вы въ моихъ рукахъ,—для этого вы мнѣ достаточно разсказали,—и продать васъ я не постѣснялся бы,—продали же и вы женщину, которая васъ такъ любитъ,—но кто же васъ купитъ? Итакъ, до пріятнаго свиданія. Вѣрнѣе всего, что уже дня черезъ три ваше дѣло будетъ рѣшено.

НАИВНЫЯ ВСТРѢЧИ.

I.

Только Онъ и Она. Конечно, Онъ старше. Она очень молода. Но не все ли равно, сколько имъ лѣтъ? Въ его памяти неизгладимы навѣки нѣсколько мгновеній, двѣ-три встрѣчи.

Навѣки остался въ памяти у Него ярко-солнечный мигъ морознаго дня на перекресткѣ туманныхъ улицъ громаднаго сѣвернаго города, и встрѣча съ Нею.

Одна въ толпѣ равнодушно закутанныхъ и спѣшащихъ прохожихъ шла Она, вся раскраснѣвшаяся отъ мороза, въ легкихъ свѣтло-сѣрыхъ мѣхахъ. Яркимъ румянцемъ пылали ея щеки, и горѣли ея черные глаза такъ ярко, такъ юно, такъ весело! И губы ея, нѣжно алыя на морозѣ, улыбались,—морозу, солнцу, толпѣ, молодости своей и веселью. Она шла и улыбалась, счастливая, опьяненная счастьемъ безсознательно юнымъ,—нѣтъ, еще не счастьемъ даже, а его радостнымъ предчувствіемъ.

Какъ на одесскомъ портретѣ Монье лицо Елисаветы, ея прекрасное лицо было обвѣяно упоеніемъ сладостно-легкой жизни, восторгомъ пробуждающагося бытія.

Она шла въ дивномъ восторгѣ мимо Него, и уже почти прошла, не замѣтивъ,—и вдругъ взоръ ея черныхъ, радо-

стно смѣющихся глазъ упалъ на Него. И зарадовались оба,—и весь внѣшній шумъ и свѣтъ погасъ для Него, и только одно было ея лицо, раскраснѣвшееся на морозѣ, съ нѣжно алыми губами, обвѣянное восторгомъ, опьяненное радостнымъ предчувствіемъ невѣдомаго счастья.

Онъ подошелъ къ Ней, пожалъ ея тонкую руку въ мягкой теплой перчаткѣ. Онъ и Она говорили что-то, незначительное. Не все ли равно, что!

Онъ спросилъ Ее:

— Вамъ весело? Вы рады?

Она отвѣтила Ему звенящимъ отъ радости голосомъ:

— Такъ хочу радости и смѣха въ этотъ день! Если бы даже горе было и слезы, я бы радовалась и смѣялась.

Онъ тихо спросилъ:

— Чему?

Уже въ душѣ его рѣдкою и недолгою гостьею бывала радость, и усталость все чаще томила, и суровыми укорами уже была въ его глазахъ развѣнчана прекрасная, но злая царица Жизнь, щедрая податель́ница бѣдъ.

Она смотрѣла на Него, широко открывъ удивленные, радостные глаза. Онъ повторилъ вопросъ:

— Чему бы радовались?

— Я не знаю,—сказала Она.—Я хочу радости,—развѣ этого мало? Мнѣ весело. А вамъ? Вы не рады?

— Я радъ тому, что васъ встрѣтилъ,—отвѣтилъ Онъ.

Она засмѣялась, и сказала:

— Вы все шутите. Нѣтъ, вы серьезно скажите,—вамъ не хочется смѣяться и радоваться?

— Мало ли что намъ захочется,—сказалъ Онъ.—Вамъ легко, у васъ нѣтъ ни заботъ, ни огорченій.

— Ну вотъ, почему нѣтъ!—воскликнула Она.—И плачешь иногда. Такъ что-жъ!

— О чемъ же вы послѣдній разъ плакали?—спросилъ Онъ.

Она сказала съ радостнытъ укоромъ:

— Стоитъ вспоминать! Такъ, съ мамою что-то. У нея

нервы разстроены,—у нея непріятности, она такъ раздражительна. Ну да что, стоитъ ли вспоминать!

Шли, разговаривали,—Онъ, обрадованный только Ею, Она, вся обвѣянная восторгомъ произвольной радости, по волѣ творимаго ликованія.

II.

Прошли дни. Была весна. Другая встрѣча.

Поля слегка туманились. Передъ заборомъ сада было тихо. Тонкая сосенка на дорогѣ передъ калиткою сладко дремала, погруженная навѣки въ милую свою безсознательность. Слезы прозрачнаго смолистаго сока застывали на ея корѣ,—слезы, Богъ вѣсть о чемъ. Сѣрѣла пыль на дорогѣ, и мягки были въ вечерней мглѣ очертанія дорожныхъ колей.

Заря вечерняя уже погасла, но весь мглистый воздухъ былъ пропитанъ мечтаніемъ о тихой зарѣ вечерней. И надъ ними, надъ двумя, въ безмолвномъ воздухѣ вечернемъ трепеталъ вешнею радостью тихій лепетъ мечты.

Они сидѣли на скамейкѣ у забора. На Немъ была свѣтло-сѣрая одежда; подъ бѣлою полоскою крахмальнаго воротничка краснѣлъ узкій галстукъ; темнымъ пятномъ нависла надъ лицомъ желтая соломенная шляпа.

Она была въ легкомъ бѣломъ платьѣ. Ея стройныя руки были открыты, еще не было загара на ея прекрасномъ лицѣ, и бѣлы были ея босыя ноги.

Онъ и Она говорили о чемъ-то. И молчали. И прислушивались къ далекому плеску рѣчки на порожистомъ руслѣ о покрытые пѣною камни.

— Пора домой,—сказала Она.

— Посидите еще немного,—просилъ Онъ.

— Ну, еще пять минутъ,—сказала Она.

Нѣжно глядя на ея бѣлыя босыя ноги, спросилъ Онъ:

— Вамъ не холодно?

Слегка краснѣя, Она спрятала ноги подъ платье, и сказала:

— Немножко сыро ногамъ еще съ непривычки. Мама бранится иногда, а я ни за что не хочу надѣть башмаковъ. Такъ весело ходить босикомъ. И немножко стыдно. И это тоже весело и забавно. Такая мягкая земля подъ голыми ногами, такая нѣжная подъ ногами пыль.

— А песокъ?—спросилъ Онъ.

— Съ непривычки немножко больно,—сказала Она.— Такъ щекочетъ. Но я непремѣнно хочу, чтобы привыкнуть.

— А зачѣмъ это вамъ?—спросилъ Онъ.

Такой городской, такъ привыкшій къ камнямъ и асфальтамъ столицы.

Она улыбалась и говорила:

— Такъ. Такъ хочу. Люблю, люблю мою землю. Она темная, и нѣжная, и суровая. Какъ мать, суровая и нѣжная. Лелѣетъ, ласкаетъ,—и не балуетъ, и мучитъ иногда. И все, что отъ нея, радостно.

Онъ тихо сказалъ:

— Да вѣдь отъ нея и смерть!

Она сказала съ восторгомъ:

— Ахъ, все отъ нея радостно! Я такая городская, а здѣсь я точно нашла сама себя, и отъ радости и счастія словно пьянѣю. Такъ тороплюсь насытиться воздухомъ и свѣтомъ, и такъ радостно погружаться въ холодную воду въ рѣкѣ, и такъ весело приникнуть къ землѣ обнаженными ногами. Такъ хочу быть радостною и простою, какъ дѣвушка дикаго племени гдѣ-нибудь на островѣ среди далекаго океана.

Она замолчала. И ясное выраженіе счастія было на ея лицѣ.

Онъ смотрѣлъ на Нее, любовался Ею. Она откинулась на спинку скамейки, мечтательно глядѣла прямо передъ собою, и изъ-подъ края ея платья опять стали видны положенныя одна на другую легкія, тонкія стопы ея бѣлыхъ ногъ.

Онъ слегка дотронулся до ея рукъ, скрещенныхъ на колѣняхъ, и тихо спросилъ:

— Отчего же вы не хотѣли сегодня днемъ итти со мною гулять?

Она улыбнулась, и тихо сказала:

— Такъ.

— А завтра пойдете?—спросилъ Онъ.

— Нѣтъ, еще не завтра, потомъ,—сказала Она.

— А почему не завтра?—спрашивалъ Онъ.

Съ милымъ выраженіемъ откровенности Она говорила:

— Мнѣ еще пока стыдно, что у меня такія бѣлыя ноги. Глупыя, бѣдныя, бѣлыя ноги. И я жду, когда онѣ хоть слегка покроются загаромъ. А надѣть башмаки ни за что не хочу. Люблю мою землю.

И тихо повторяла Она:

— Люблю мою темную землю. Люблю. Люблю.

Радостное волненіе охватило Ее. Грудь ея дышала трепетно и неровно. Легкая дрожь пробѣгала по ея тѣлу. Съ мечтательнымъ восторгомъ смотрѣли во мглу ея черные глаза, и нѣжно-алыя уста повторяли сладкое слово:

— Люблю. Люблю.

Свирѣльно звенящимъ звукомъ трепетало это вѣчно радостное слово, и каждый разъ оно звучало все новымъ волненіемъ и все инымъ, все болѣе сладостнымъ восторгомъ. И уже Она словно задыхалась отъ восторга и сладостной печали, и свирѣльными стонами и вздохами перемежалось вѣчно ликующее слово:

— Люблю, ахъ, люблю!

Онъ подвинулся къ Ней. Она довѣрчиво прижалась къ нему. Онъ смотрѣлъ на ея лицо. Оно было блѣдно. Изъ ея глазъ текли слезы. Она плакала и улыбалась,—и слезы ея были слезы юнаго восторга и сладостной, вешней печали.

Онъ обнялъ Ее, и поцѣловалъ ея нѣжную щеку, и повторялъ:

— Милая, милая!

И ощущалъ трепетъ ея тѣла, и слышалъ ея замирающіе стоны:

— Люблю.

И тогда спросилъ:

— А меня ты любишь?

— Ахъ!—воскликнула Она.

И вся занялась радостью, и задрожала, и цѣловала Его нѣжно, повторяя:

— Люблю тебя, люблю!

И вдругъ легкимъ и быстрымъ движеніемъ Она освободилась изъ его объятій. Шепнула:

— Милый, прощай! До завтра.

Съ тихимъ скрипомъ калитка раскрылась, и опять закрылась. И уже Она въ саду. Въ густой тѣни молчаливыхъ деревьевъ слабо бѣлѣетъ ея платье. На темномъ и сыромъ пескѣ дорожекъ мелькаютъ ея бѣлыя босыя ножки. И вотъ Она скрылась за поворотомъ дороги, тамъ, гдѣ изъ-за деревьевъ едва виденъ огонь лампы на террасѣ.

Онъ долго стоялъ у калитки. Глядѣлъ на деревья въ саду, которыя осѣняли Ее сегодня. Глядѣлъ на дорожки, хранящія слѣды ея милыхъ ногъ. Мечталъ о чемъ-то. Былъ счастливъ и печаленъ. И счастьемъ и печалью были напоены его мечты.

Потомъ привычнымъ движеніемъ горожанина Онъ вынулъ изъ жилетнаго кармана часы, взглянулъ на нихъ, подумалъ, что уже поздно, что уже пора спать, и пошелъ домой.

Закурилъ папиросу. Помахивалъ тросточкою.

Поля были туманны и теплы. На рѣкѣ кто-то неуемно-шаловливый плескался струйками вѣчно бѣгущей воды.

Онъ тихо шелъ, о Ней мечтая. Каблуки его сапогъ мягко вдавливались въ сѣрую пыль проселка. Красный кончикъ его папироски чертилъ въ мглистомъ воздухѣ неровный огненный путь.

Человѣку въ сѣрой удобной и красивой одеждѣ захотѣ-

лось быть такимъ же, какъ Она, радостнымъ и простодушнымъ,—но гдѣ же взять наивности и простоты?

У природы научиться?

Но природа молчала, и томилась вѣчнымъ ожиданіемъ того, кто долженъ притти, и кто все еще не приходитъ.

III.

Прошли дни. Былъ день ясный и знойный. Онъ и Она шли въ поляхъ. Онъ опять въ томъ же свѣтло-сѣромъ костюмѣ и въ соломенной шляпѣ. Она въ легкомъ бѣломъ платьѣ. У Нея на головѣ пестрый шелковый платочекъ; босыя ноги слегка загорѣли.

И опять радостный смѣхъ на ея алыхъ губахъ, и восторгъ въ черныхъ глазахъ, и щеки рдѣютъ. И говорятъ о чемъ-то,—не все ли равно о чемъ!

И опять вопросъ:

— Ты меня любишь?

И тотъ же все сладостный отвѣтъ:

— Люблю тебя, люблю.

Она смѣется,—ясному небу, зеленымъ травамъ, тихо вѣющему Ей навстрѣчу вѣтру, птичкамъ и тучкамъ, всему, всему, и говоритъ,—и свирѣльно звонокъ ея легкій голосъ:

— Люблю мою землю, и камешки, и сѣренькую пыль подъ моими ногами, и траву, и цвѣты полевые, кашки и ромашки.

Смѣется и говоритъ:

— Милыя кашки и ромашки, я васъ люблю. А вы меня любите?

Зыбкій бѣжитъ по лугу вѣтеръ, и колышутся полевые цвѣточки, киваютъ ей глупыми своими головками.

— Все тебя любитъ,—говоритъ Онъ Ей.—Ты идешь, какъ воздушная царица радостныхъ странъ, и земля приникла къ твоимъ ногамъ, и лобзаетъ ихъ нѣжно.

Она смѣется и сіяетъ ликующею радостью, и идетъ среди травъ и колосьевъ, какъ царица радостной страны, далекой

И зыбкій вѣтеръ цѣлуетъ ея ноги, и солнце, милое солнце яснаго дня разсыпаетъ у ея ногъ золото своихъ горячихъ лучей.

Потомъ... а не все ли равно, что потомъ было? Была жизнь, и событія случались, и будутъ случаться. Дни за днями идутъ, и будутъ итти. Въ докучномъ шумѣ злыхъ дней померкнетъ радостное сіяніе простодушной мечты, и ликованію безмятежной радости положенъ будетъ предѣлъ. Но что же такое! А все въ памяти неизгладимы эти наивные часы, эти радостныя встрѣчи, и этотъ милый лепетъ мечты и счастія.

Счастія, творимаго по волѣ.

ОДНО СЛОВО.

I.

Никогда съ такою пріятностью не вспоминается намъ лѣто, какъ въ самые темные зимніе дни. И еще если при этомъ переживаешь одиночество, разлуку съ любимымъ, томишься печалью о быстро-промелькнувшихъ, невозвратныхъ годахъ молодости!

Константинъ Михайловичъ Сладимовъ, человѣкъ почти богатый, малозанятый и еще не старый, начиналъ свой декабрьскій день только послѣ полудня.

Въ обширной, красиво обставленной квартирѣ Сладимова было безлюдно и тихо. Прошло уже четыре года съ того дня, какъ жена Константина Михайловича ушла отъ него. Ихъ единственнаго ребенка, мальчика Сергунчика, онъ отдалъ ей.

Теперь Константинъ Михайловичъ жилъ одинъ, странною, нелѣпою жизнью обезпеченнаго, ничѣмъ особенно не занятаго и уже начинающаго старѣть человѣка.

Проснувшись поздно утромъ, часто съ головою тяжелою отъ излишне-выпитаго вчера вина, Константинъ Михайловичъ еще долго лежалъ въ постели.

Ни одного внѣшняго звука не доносилось къ нему изъ-за тяжелыхъ, безшумно-мягкихъ портьеръ и занавѣсей темной спальни. Тусклые, раздавленные мокрою мглою лучи

сѣро-облачнаго дня не пробивались сквозь эти строгія занавѣси. Только потому, что уже не хотѣлось ему спать, зналъ Константинъ Михайловичъ, что тамъ, гдѣ-то, влечется день трудовъ и злости. Константинъ Михайловичъ повертывалъ одинъ изъ бронзовыхъ выключателей у постели,—вспыхивали тонкія, молочно-бѣлыя ниточки въ стеклянной грушѣ подъ потолкомъ, и возникала необычайная опять въ своей замкнутости обычность, неподвижная жизнь зеркалъ, бронзы, мрамора, краснаго дерева и пышныхъ тканей.

Константинъ Михайловичъ не торопился вставать. Онъ вспоминалъ.

Обыкновенно вспоминались ему вчерашнія встрѣчи въ театрѣ, на улицѣ, у знакомыхъ, въ клубѣ, на бѣгахъ, на скетингъ-ринкѣ. И вотъ передъ нимъ проходила яркая, цѣпкая вереница ненужныхъ, надоѣвшихъ давно лицъ,—любезно-улыбающіяся дамы,—развязно-неловкія дѣвицы,—молодые люди, облеченные въ черные смокинги и фраки, тѣ выхощенные юноши, молодость которыхъ всегда кажется преувеличенною,—и люди пожилые съ такими достойными манерами, что всѣ они казались послами великихъ державъ или отдыхающими министрами.

О каждомъ изъ такихъ людей Константинъ Михайловичъ зналъ какой-нибудь пакостный случай, анекдотъ, сплетню, по-секрету разсказанное, но всѣмъ извѣстное приключеніе. И хотя Константинъ Михайловичъ зналъ и то, что и о немъ самомъ говорятъ многое, столь же пакостное,—одно бѣгство жены сколько дало пищи злымъ языкамъ!—онъ все же не могъ отказать себѣ въ удовольствіи презирать этихъ людей его общества.

Людей изъ другого общества Константинъ Михайловичъ почти никогда не вспоминалъ, не потому, что не любилъ ихъ, и не потому, что брезгливо сторонился отъ нихъ, а только потому, что съ дѣтства не привыкъ думать объ этихъ людяхъ иначе, какъ только слегка и недолго. Онъ совершенно искренно считалъ себя человѣкомъ особой, высшей расы, однимъ изъ носителей утонченной культуры.

Иногда Константину Михайловичу вспоминалась его жена Татьяна Алексѣевна. Особенно часто почему-то онъ сталъ вспоминать ее въ послѣднее время. Вмѣстѣ съ ея образомъ въ душѣ Константина Михайловича бурно поднимались острыя, смѣшанныя чувства вновь оживающей любви, жалости, ревности и безумнаго гнѣва.

Константинъ Михайловичъ пытался покрыть эту бѣшеную смуту чувствъ холоднымъ презрѣніемъ,—но не было холода презрѣнія въ его душѣ, и воспоминанія жгли и жалили его тѣмъ больнѣе, чѣмъ свѣтлѣе были милые образы воспоминаній, образы нѣжной идилліи. Тогда Константинъ Михайловичъ звонилъ,—шустрый сѣроглазый мальчуганъ казачокъ въ сѣренькой узкой одеждѣ и въ сѣренькихъ мягкихъ башмакахъ приносилъ газеты,—новости, сплетни, болтовня, суета и смута нашихъ дней...

II.

Константинъ Михайловичъ, въ англійскомъ синемъ, мягкомъ халатикѣ выходилъ поздно изъ своей спальни, приближался неторопливо къ среднему окну своего обширнаго, опрятно-холоднаго кабинета съ очень строгою обстановкою, и долго смотрѣлъ на улицу.

Былъ декабрь, а погода въ тотъ годъ стояла еще осенняя. Люди, которые всегда все знаютъ, говорили, что это изъ-за той самой кометы, которая прошла мимо земли весною, разсыпаясь отъ дряхлости.

На сѣрой, тусклой улицѣ мостовая темнѣла, мокрая и грязная. Некрасивые дома пялили на улицу мокрые глаза темныхъ оконъ, и некрасивыя вывѣски грузно свѣшивались надъ унылыми стеклами магазиновъ. Хрупали о камни копыта дымящихся извозчичьихъ лошаденокъ, и, упруго дрожа на резинкахъ, проносились дрожки съ поднятыми верхами, кожа которыхъ тускло поблескивала сквозь сѣрую пасмурность мокраго дня.

По мокрымъ, скользкимъ тротуарамъ шли неуклюжіе,

измокшіе люди въ тяжелыхъ, грубыхъ одеждахъ. Кувалды-барыни топырили надъ собою черные зонтики, и тыкали ими въ котелки встрѣчныхъ чиновниковъ.

Черезъ дорогу перебиралась дѣвочка въ короткомъ синемъ платьицѣ, кутаясь въ большой темно-сѣрый платокъ и осторожно ставя на верхи камешковъ тонкія ножки въ забрызганныхъ ботинкахъ и видныхъ до колѣнъ черныхъ чулкахъ. Прямо на нее, тяжело грохоча и покачивая грязно-зеленою дугою съ черными разводами, катилась телѣга съ сѣрыми кулями,—но дѣвочка запрыгала поживѣе, и перебѣжала подъ самою мордою смиреннаго ломовика.

Была скука разлита въ сѣромъ воздухѣ, и сѣрою скукою отравлены были прохожіе и проѣзжіе, да и стѣны тусклыхъ домовъ, и плиты докучныхъ тротуаровъ, и ржавое желѣзо вывѣсокъ,—все это неподвижное и бездыханное переняло у человѣка его скуку, и томилось, скучая, тоскуя.

Тогда опять вспоминалъ Константинъ Михайловичъ лѣто въ далекой деревнѣ, гдѣ встрѣтился онъ съ милою своею Таточкою, гдѣ надъ тяжелою запутанностью его нечистой, угарной, слишкомъ городской жизни возникла нѣжная очаровательница, невинная, легкая, простодушная любовь.

Въ мечтѣ снова вставали навсегда милыя мѣста: длинная аллея такихъ веселыхъ, празднично-нарядныхъ, зеленолистныхъ и бѣлоствольныхъ березъ; мелкія камешки на дорогѣ и легкоозначенныя на ней колеи; старый помѣщичій домъ съ просторными залами, съ уютными покойчиками, съ укромными, темными переходами; старый, широко-разросшійся садъ, гдѣ были такія тѣнистыя дорожки и такія милыя скамейки и бесѣдки; причудливо-вьющаяся рѣченка у самаго сада, и къ ней спускающійся глубокій оврагъ, заросшій ломкимъ кустарникомъ. И милое Таточкино лицо, улыбка милая, и легкій, звонкій смѣхъ, и ручки маленькія и загорѣлыя.

Три—четыре образа особенно часто повторялись въ памяти Константина Михайловича.

Вотъ въ залѣ за старымъ роялемъ сидитъ Таточка. По

клавишамъ быстро бѣгаютъ тонкіе пальчики. И такіе нѣжные, звенящіе сладостно звуки льются въ легкій сумракъ предвечерній, что плакать хочется и смѣяться отъ счастія и печали, и смотрѣть, смотрѣть на ея тонкія плечики.

Вотъ на рѣкѣ вечерѣющей въ лодкѣ легкой и зыбкой они двое,—онъ гребетъ, Таточка на рулѣ. Заслушалась его разсказовъ, и лодка тянетъ къ берегу, и шуршитъ бортомъ о зеленый камышъ. Смѣется Таточка:

— Чуть на мель не сѣли!

Вотъ утромъ Таточка идетъ съ рѣки по тропинкѣ мимо рощи домой. Она только-что купалась. Волосы ея влажны, лицо нѣжно румянится, веселыми кажутся быстро-мелькающія босыя ножки. Увидѣла идущаго навстрѣчу Константина Михайловича, застыдилась легко, прикрыла зардѣвшееся лицо свернутымъ полотенцемъ, убѣжать хотѣла, да передумала, и улыбаясь подошла къ нему. Такая милая, зардѣвшаяся, стоитъ передъ нимъ, и говоритъ веселыя слова.

III.

А впрочемъ, что же вспоминать! Ничего особеннаго не случилось. Все было, какъ у всѣхъ,—Константинъ Михайловичъ и Таточка влюбились другъ въ друга, потомъ поженились.

Родные его и ея были довольны. Всѣ находили, что Сладимовъ и Таточка какъ нельзя лучше подходятъ другъ къ другу.

Нѣсколько лѣтъ жили они мирно, счастливо, безпечно. Родился скоро мальчикъ. Больше дѣтей у нихъ не было.

Первая, нѣжная влюбленность прошла, смѣнилась тихою любовью. Потомъ какъ-то ужъ очень скоро привыкли они другъ къ другу. Тѣ радостные, золотистые нимбы, которые чудились ему надъ головою милой и ей надъ головою милаго, мало-по-малу полиняли, а тамъ и вовсе смылись. И все въ

ихъ жизни, пока еще согласной, понемногу стало обычнымъ, докучнымъ и прѣснымъ.

Но Константинъ Михайловичъ остался вѣренъ своей Таточкѣ, а вотъ Таточка ему измѣнила. Увлеклась красивымъ инженеромъ, холоднымъ и пустымъ фразеромъ, и ушла съ нимъ отъ Сладимова. Ушла, а сына себѣ выпросила,—и Константинъ Михайловичъ съ нею не спорилъ.

Съ тягостнымъ злорадствомъ думалъ теперь Константинъ Михайловичъ о томъ, что счастія не было Таточкѣ. Инженеръ скоро ее бросилъ,—завелъ болѣе выгодную связь.

Константинъ Михайловичъ, конечно, посылалъ Татьянѣ Алексѣевнѣ денегъ на воспитаніе сына. Этихъ денегъ едва хватало. Къ своимъ роднымъ Татьяна Алексѣевна стыдилась обращаться. Константинъ Михайловичъ зналъ, что его Таточкѣ живется не сладко.

„Ну и пусть!"—досадливо думалъ онъ.

Иногда приходила ему въ голову мысль, что надо бы денегъ посылать побольше Таточкѣ. Но онъ гналъ отъ себя эту мысль.

„Пусть работаетъ",—думалъ онъ.

И Татьяна Алексѣевна работала, какъ умѣла.

Въ толпѣ торопящихся къ трудамъ людей, снующихъ подъ окнами этой дорогой квартиры, проходила иногда, можетъ быть, и она. Можетъ быть, взглядывала торопливо и робко на эти окна, и спѣшила пройти поскорѣе.

Иногда Константину Михайловичу хотѣлось узнать все еще милыя черты своей Таточки въ лицѣ одной изъ быстро проходящихъ женщинъ; иногда что-то въ походкѣ, въ манерѣ держать зонтикъ напоминало ему Татьяну Алексѣевну. Всматривался, и убѣждался, что ошибся.

Константинъ Михайловичъ отходилъ не спѣша отъ окна, и одѣвался, какъ всегда, тщательно. На улицѣ же его ждалъ экипажъ.

Спускаясь по темно-красному ковру красивой и свѣтлой лѣстницы, и потомъ проходя въ широкую зеркальную дверь подъѣзда мимо почтительно-изгибающагося швейцара, Кон-

стантинъ Михайловичъ думалъ почему-то, что есть въ городѣ лѣстницы со двора, темныя, съ истертыми ступеньками, лѣстницы, гдѣ пахнетъ кухоннымъ чадомъ и кошками, гдѣ за каждою обшарпанною дверью таится кто-то блѣдный, съ усиліемъ старающійся свести какіе-то концы съ какими-то концами. И его милая Таточка ходитъ по такой лѣстницѣ, ходитъ въ старенькой жакеткѣ и въ старомодной шляпкѣ, и тоже думаетъ объ этихъ концахъ.

Константинъ Михайловичъ усмѣхался злорадно, и думалъ: „Ничего, ходитъ,—привыкла!“

IV.

Ходитъ Татьяна Алексѣевна Сладимова по грязной лѣстницѣ, гдѣ пахнетъ кошками,—ничего, привыкла.

Но какъ-то часто и Татьянѣ Алексѣевнѣ стало припоминаться то лѣто, и та ея любовь, первая. И полинявшій нимбъ надъ головою милаго зажигался снова, и новая была въ немъ прелесть,—заманчивая прелесть недоступности.

Въ сѣрой, темной и тошной будничности, къ которой Татьяна Алексѣевна уже привыкла, возникали опять волненія прежней, казалось, навсегда погребенной любви. И все чаще и чаще томило ее сознаніе недоступности того маленькаго рая на землѣ, который она сама отвергла, сознаніе невозвратности былого, милаго счастья.

Недоступное, невозвратное! Но такъ ли это? Такъ хочется сердцу вѣрить! И развѣ есть невозможное? Развѣ упорная всегда воля человѣка уже не творитъ и въ наши дни чудесъ?

Чудо изъ чудесъ,—рожденіе и воскресеніе любви, ты волѣ человѣка, тебя жаждущаго, развѣ не подчинишься?

V.

Однажды вечеромъ, когда скучная лампа горѣла надъ бѣлою скатертью стола, и маленькій румяный гимназистъ—

второклассникъ Сергунчикъ съ озабоченно-скучающимъ лицомъ училъ скучные на завтра уроки, Татьяна Алексѣевна вздохнула и сказала негромко:

— Сергунчикъ!

Мальчикъ, хмуря брови, взглянулъ на мать, положилъ палецъ на необходимую ему строчку, и спросилъ:

— А? Что, мама?

— Не написать ли намъ отцу?—спросила Татьяна Алексѣевна.—Можетъ быть, онъ насъ опять къ себѣ возьметъ.

Сергунчикъ оживился, а Татьяна Алексѣевна уже упрекала себя, зачѣмъ сказала это мальчику. Надо было написать, не говоря Сергунчику. Вѣдь еще неизвѣстно, что отвѣтитъ Константинъ Михайловичъ.

А Сергунчикъ болталъ оживленно, забывая о своихъ урокахъ, и торопилъ ее:

— Пиши же, мама, скорѣе. А то мы не успѣемъ на елку переѣхать къ папѣ.

Татьяна Алексѣевна писала, а Сергунчикъ стоялъ нагибаясь за ея плечомъ, повторялъ шопотомъ каждое слово, и плакалъ отъ умиленія и восторга.

Свѣтъ отъ лампы былъ холоденъ и тихъ,—бѣлая штора на окнѣ висѣла неподвижная, не живая,—отъ желѣзной въ углу печки слабо вѣяло приторнымъ, не живымъ тепломъ,—тѣнь отъ стола лежала на полу широкая, тупая и холодная,—все вокругъ враждебное было, и не живое. Только въ лампадкѣ передъ образомъ мерцалъ живой, таинственный огонекъ,—но жизнь, которая была въ немъ, иная была, нездѣшняя.

Татьяна Алексѣевна писала:

„Милый Константинъ Михайловичъ, тяжело и грустно живется мнѣ. Тотъ, съ которымъ ушла я отъ васъ, меня оставилъ,—и поняла я, что между нами никогда и не было настоящей любви. Когда прошли первые дни этого внезапнаго и безумнаго увлеченія, мы оба увидѣли ясно, что ничто прекрасное и высокое не соединяетъ насъ. Мы разста-

лись,—и теперь только со стыдомъ и отвращеніемъ я вспоминаю угарныя минуты нашего сближенія.

„Вотъ живу я съ моимъ Сергунчикомъ, жизнь моя наполнена заботами о немъ, работою для него, а сама я точно не живая,—живу не живу. Точно и нѣтъ жизни, точно только и есть заботы, что забота о каждой копейкѣ, дума о томъ, какъ бы концы съ концами свести. Но не стала бы я писать вамъ обо всемъ этомъ, если бы опять въ душѣ моей не проснулось то, что когда-то мы съ вами переживали вмѣстѣ такъ хорошо, такъ молодо, такъ искренне.

„Помните ли вы то лѣто, навсегда для меня милое, когда вы мнѣ сказали, что полюбили меня? Милый мой, любимый, любите ли вы меня еще хоть сколько-нибудь? Можете ли вы когда-нибудь простить мнѣ то злое, что я вамъ сдѣлала?

„Если бы вы знали, какъ устала я въ моей печальной и трудной жизни, вы, конечно, пожалѣли бы меня. Вотъ я пишу вамъ, я прошу васъ, какъ проситъ у чужого порога голодная, озябшая на дорогѣ нищенка,—пустите меня къ себѣ, возьмите меня. Даже не прошу, чтобы вы меня простили теперь же,—будьте со мною неласковы и строги, очень строги,—только бы мнѣ видѣть васъ иногда, быть около васъ, слышать звукъ вашихъ словъ, хотя бы и не мнѣ сказанныхъ.

„Вамъ трудно, можетъ быть, непріятно найти для меня слова привѣта,—отвѣтьте мнѣ хоть кратко. Хоть одно только слово напишите мнѣ, чтобы я знала, могу ли я притти къ вамъ. А если и нѣтъ вы мнѣ скажете, вы будете правы.

„Ваша Татьяна.

„Я хотѣла подписаться Таточка, и почему-то не посмѣла. Боюсь васъ, мой милый, любимый, желанный мой.“

VI.

Туманъ стоялъ на тусклыхъ улицахъ, и не было дня; темное утро, не одолѣвшее мглистаго тумана, смѣнялось сырымъ, дождливымъ, быстро-темнѣющимъ вечеромъ. Равно-

душный свѣтъ электрической лампы мертво лежалъ на зеленомъ сукнѣ стола въ кабинетѣ Сладимова и на бѣлой бумагѣ Таточкина письма.

Константинъ Михайловичъ читалъ и перечитывалъ это письмо. Радость и злоба жили въ немъ, любовь и ненависть одновременно.

Таточка, милая Таточка, та самая, чей смѣхъ звенѣлъ, такой чистый, въ аллеяхъ стараго сада, чей взоръ, такой ясный, тамъ, на озаренныхъ лучами яснаго заката просторахъ сладостно очаровывалъ его душу, Таточка опять придетъ къ нему. Таточка, чьи тонкія ручки наполняли сумракъ предвечерній звенящимъ благоуханіемъ звуковъ, чьи легкія ножки погружались въ прохладныя росы утреннихъ травъ!

Жена, его обманувшая, ему измѣнившая, покинувшая его, замкнувшая вокругъ него тяжелую черту одиночества и злорадства,—эта ненавистная женщина опять стучится въ его двери.

И онъ пуститъ ее?

Коварно-улыбающаяся, лживая, она опять будетъ съ нимъ, на его ложѣ и за его столомъ? Властная, войдетъ въ его жизнь госпожею, хозяйкою войдетъ въ его домъ?

Милая, придетъ, поцѣлуетъ, и будетъ ласкать его, какъ тогда, въ первые дни и въ первыя ночи.

Будетъ ласкать его, какъ ласкала своего любовника!

Теперь униженная и робкая, она скоро подниметъ голову.

Но пусть придетъ, пусть! И будетъ плакать, и просить...

Злыя желанія и жестокія томили Константина Михайловича. Бросить ей въ лицо всѣ слова, рожденныя въ тоскѣ одинокихъ дней и ночей, всѣ безпощадныя слова! Унизить, измучить прекрасную, все еще милую,—тѣмъ больнѣе измучить, чѣмъ жалче будетъ мучить ее!

Или простить, забыть? И сладко будетъ помириться?

Она проситъ отъ него теперь только одного слова,—она получитъ это слово, одно слово, котораго она ждетъ, и которое все же будетъ неожиданнымъ для нее.

Рѣшительными движеніями Константинъ Михайловичъ досталъ листъ бумаги, написалъ одно слово, только одно, быстро заклеилъ конвертъ, написалъ адресъ, позвонилъ, отдалъ письмо пришедшей на звонокъ стройной, миловидной Глашѣ, и сказалъ:

— Опустите въ почтовый ящикъ сейчасъ же.

VII.

Пришло письмо вечеромъ. Дрожали пальцы у Татьяны Алексѣевны, когда она разрывала конвертъ. Сергунчикъ смотрѣлъ съ любопытствомъ, и спрашивалъ:

— Отъ отца? да? отъ отца?

Татьяна Алексѣевна молчала. Раскрыла письмо. Вотъ оно,—одно слово, холодное, суровое. Только одно, но зато какое слово!

Лицо Татьяны Алексѣевны багряно вспыхнуло. Какъ-то странно замрежили очертанія предметовъ,—сквозь слезы.

Ни одного не нашелъ для нея ласковаго слова. Такая жестокость!

Но не сама ли она этого хотѣла? И въ самомъ дѣлѣ, развѣ надо, чтобы душа у человѣка была, какъ изъ гуттаперчи, и чтобы все шло гладко, какъ ни въ чемъ не бывало?

Такъ ей и надо. Или не надо? Должна ли она итти къ нему, должна ли она перенести это жестокое, подчиниться тому, что сказано этимъ однимъ словомъ?

Должна. Для себя, для Сергунчика. Или не должна? Такъ страшно ей стало и стыдно,—но иначе какъ же быть? Вотъ суровое одно слово,—но это слово отъ него, отъ милаго, отъ любимаго. Или и отъ любимаго нельзя этого стерпѣть?

Пусть рѣшитъ Сергунчикъ. Вѣдь этого же она не для себя только захотѣла, а и для Сергунчика. Чтобы у него была елка, былъ домъ, былъ отецъ. Ну вотъ, пусть Сергунчикъ и рѣшаетъ.

Татьяна Алексѣевна медленно сказала:

— Вотъ, Сергунчикъ, прочти, что написалъ отецъ. Прочти

и скажи, что мнѣ дѣлать, итти къ нему, или ужъ лучше здѣсь остаться. Какъ ты скажешь, такъ я и сдѣлаю.

Отдала письмо Сергунчику, и смотритъ на него глазами, полными слезъ. Прекрасные глаза, полные слезъ!

Какъ покраснѣлъ Сергунчикъ! Звенящимъ странно голосомъ сказалъ:

— Только одно слово!

И заплакалъ.

Ласкала своего Сергунчика Татьяна Алексѣевна и спрашивала:

— Что же мнѣ дѣлать, Сергунчикъ?

И улыбалась. И уже не было печали и смуты въ ея душѣ. Какъ скажетъ Сергунчикъ, такъ и будетъ.

Долго плакалъ Сергунчикъ, и наконецъ сказалъ:

— Что жъ, мама, ужъ если ты захотѣла вернуться къ папѣ, такъ пусть такъ и будетъ. Пойдемъ къ отцу, милая мама,—и ничего не бойся,—это пройдетъ, и опять будетъ хорошо.

Татьяна Алексѣевна вздохнула, и сказала спокойно:

— Хорошо, Сергунчикъ. Завтра пойдемъ.

И уже не стыдилась, не боялась. Пусть будетъ, что будетъ,—вернутся счастливые дни, и вѣнцы счастія и радости засіяютъ снова.

VIII.

На другой день къ вечеру Татьяна Алексѣевна и Сергунчикъ поднимались по широкой съ цвѣтами и съ зеркалами лѣстницѣ въ бель-этажъ, къ дверямъ квартиры Сладимова. У Татьяны Алексѣевны щеки, все еще такія нѣжныя и прекрасныя, горѣли отъ стыда, и тяжело билось въ груди сердце. И Сергунчикъ былъ взволнованъ, и тревожно посматривалъ на мать.

Завидя знакомую дверь, еще ярче зардѣлась Татьяна Алексѣевна,—остановилась на одной изъ верхнихъ ступенекъ,—и уже готова была повернуться и бѣжать. Но уже

на звонокъ, данный швейцаромъ, открылась безшумная дверь, и на порогѣ показалась въ бѣломъ передничкѣ и въ гофрированномъ чепчикѣ Глаша,—та же горничная, которая еще при Татьянѣ Алексѣевнѣ была взята.

Глаша весело говорила:

— Пожалуйте, барыня! Мы всѣ такъ рады были, когда баринъ намъ сказали, что вы вернетесь. Мы всѣ такъ о васъ жалѣли.

Веселая улыбка была на Глашиномъ лицѣ, но казалась она Татьянѣ Алексѣевнѣ насмѣшливою. Съ неловкостью, разлитою во всемъ тѣлѣ, исполосованная бичами стыда, Татьяна Алексѣевна вошла въ переднюю.

Все, какъ при ней было, стояло и теперь, здѣсь, и въ залѣ, видномъ изъ дверей передней. И было тихо тамъ, въ глубинѣ безмолвныхъ комнатъ, тамъ, гдѣ затаилось то, что будетъ.

Что-то говорила Сергунчику и Глашѣ Татьяна Алексѣевна, сама не слыша своихъ словъ. Что-то отвѣчала ей Глаша.

Сергунчикъ нерѣшительно вошелъ въ залу, и съ любопытствомъ разсматривалъ полузабытые предметы. Ждалъ, когда отецъ къ нему выйдетъ. Давно не видѣлъ отца!

Глаша, улыбаясь, сказала Татьянѣ Алексѣевнѣ:

— Пожалуйте, барыня, уже все для васъ приготовлено.

И пошла въ ту сторону, гдѣ и прежде были комнаты Татьяны Алексѣевны. И за Глашею тихо и робко шла смущенная Таточка,—и не знала, радоваться ей или плакать.

ЗЕМНОЙ РАЙ.

I.

— Хандришь?

— Хандрю.

— И все валяешься на этомъ диванѣ?

— Ну, и валяюсь.

Спрашивалъ гость, веселый молодой человѣкъ, Павелъ Павловичъ Елисѣйскій. Отвѣчалъ хозяинъ, молчаливый и лѣнивый холостякъ средняго возраста, Андрей Сергѣевичъ Ласточкинъ. Гость ходилъ по мрачному кабинету, хозяинъ лежалъ, книга валялась на темно-зеленомъ коврѣ рядомъ съ диваномъ.

У гостя блестѣли бѣлые зубы (одоль), черные волосы на головѣ, усахъ стрѣлками и коротко-постриженной бородкѣ (оріантинъ) и веселые темно-каріе большіе глаза (атропинъ). У хозяина все было тускло и уныло. Только ногти были длинны и вылощены.

Елисѣйскій сказалъ:

— Знаешь что? Тебя надо вытащить, а то ты совсѣмъ закиснешь.

Ласточкинъ хмуро усмѣхнулся и сказалъ лѣниво:

— Вытаскивай.

Елисѣйскій оживленно говорилъ:

— Я повезу тебя въ Земной Рай.

— Это что же такое?—спросилъ Ласточкинъ.

Елисѣйскій воскликнулъ съ удивленіемъ:

— Да неужели ты не слышалъ? Да вѣдь объ этомъ миломъ учрежденіи весь городъ говоритъ.

Ласточкинъ спокойно возразилъ:

— Я не слышалъ. Я сижу дома, газетъ не читаю, никого къ себѣ не пускаю, и удивляюсь, какъ это тебя сегодня ко мнѣ пустили.

Елисѣйскій махнулъ рукою.

— Оригиналъ!—сказалъ онъ примирительно.—Ну, слушай, я тебѣ разскажу.

И онъ, сверкая бѣлыми зубами, принялся съ восторгомъ описывать Земной Рай, обширный садъ за городомъ.

Тамъ всякій чувствовалъ себя такъ легко и пріятно, словно въ раю. Были увеселенія тамъ, и музыка, и нѣсколько театровъ, и все для спорта. Главная же прелесть этого сада заключалась въ томъ, что воздухъ въ саду былъ напоенъ какими-то невѣдомыми ароматами, составъ которыхъ оставался пока тайною изобрѣтателя. Подъ вліяніемъ этихъ ароматовъ посѣтители становились невинно-веселыми, какъ дѣти, и спадали съ нихъ тягостныя узы городскихъ условностей.

Разнѣженность смутныхъ мечтаній возникла надъ туманною нестройностью въ душѣ Ласточкина. Жажда невинныхъ радостей прельстила его. Онъ всталъ съ этого постылаго и въ то же время милаго дивана, на которомъ такъ лѣниво дремалось, на которомъ такія тоскливыя и унылыя рождались въ его головѣ мысли.

Сказалъ гостю:

— Ну что-жъ, я, пожалуй, поѣхалъ бы. Только лѣнь одѣваться.

Елисѣйскій сказалъ:

— Ну, вотъ, я подожду.

Ласточкинъ подошелъ къ зеркалу. Всмотрѣлся въ свое желтое лицо. Сказалъ досадливо:

— А что надѣть надо?

- Да просто фракъ,—сказалъ Елисѣйскій такимъ тономъ, какъ-будто фракъ былъ для него самою простою формою одежды.

II.

Черезъ полчаса Ласточкинъ былъ готовъ. Вышли на улицу.

Мостовыя были непривычно сухи и обнажены. Поэтому улицы стали громкими, и говорить съ извозчиками было трудно. Впрочемъ, эту обязанность взялъ на себя Елисѣйскій. Ласточкинъ замѣтилъ только, что извозчикъ запросилъ пять рублей, и согласился ѣхать за три.

Ласточкинъ спросилъ:

— Что-жъ, это очень далеко?

Елисѣйскій молча усмѣхнулся. Сказалъ:

— Ты не безпокойся. Я такого извозчика нанялъ, что онъ живо домчитъ.

Ласточкинъ замолчалъ. Всю дорогу ограничивался только рѣдкими и краткими репликами на болтовню Елисѣйскаго. А Елисѣйскій говорилъ непрерывно. Ласточкинъ думалъ о своемъ.

Всегда возвращеніе весны въ этомъ громадномъ сѣверномъ городѣ, на эти великолѣпные граниты, приводило его въ мечтательное, элегическое настроеніе. Смирялась въ душѣ его та злость, которая осенью и зимою всегда томила его въ шумномъ многолюдствѣ центральныхъ улицъ и популярныхъ сборищъ. Уже толпа на улицахъ и въ ярко освѣщенныхъ залахъ не казалась его тоскующимъ очамъ сонмищемъ нагальванизованныхъ труповъ.

По тротуарамъ людныхъ улицъ шли милыя дѣвушки, и улыбались розовѣющему на ихъ румяныхъ щекахъ закатному сіянію съ просторно-голубыхъ небесъ. Элегантныя дамы въ безшумно-несущихся экипажахъ казались царицами радостныхъ странъ; легкому трепету бѣлыхъ перьевъ на ихъ шляпахъ отвѣчалъ тонкій трепетъ легко вѣемыхъ

теплымъ съ моря вѣтромъ вуалей и лентъ. Черные цилиндры и черныя квадратныя бороды самодовольныхъ рыцарей индустріи и биржи красиво вмѣшивались въ блистательную пестроту гвардейскихъ мундировъ.

Тамъ, на гулкихъ тротуарахъ, гдѣ мелькали котелки, фуражки съ кокардами, мягкія шляпы, была густая мѣшанина всякаго сорта людей. Для этой публики дюжіе, небритые парни охрипшими съ перепоя голосами предлагали букетики невинныхъ бѣленькихъ цвѣточковъ; спрашивали за букетикъ по двугривенному, уступали за пятачекъ два букетика.

III.

Наконецъ Ласточкинъ и Елисѣйскій выбрались изъ шумной городской тѣсноты. Долго еще ѣхали они тусклыми улицами зарѣчной стороны.

Здѣсь все было сѣро и просто, но тоже очень мило. Рваные ребятишки были веселы. На окнахъ деревянныхъ домишекъ пестрѣли въ горшкахъ незамысловатыя комнатныя растеньица.

Деревянная настилка моста упруго звучала подъ колесами. Была рѣка, широкая, милая и еще по весеннему пустынная. А за рѣкою, на томъ берегу, виднѣлся длинный деревянный заборъ, и прямо противъ моста въ заборѣ массивныя, вычурныя ворота. Надъ воротами вывѣска,—на бѣломъ полѣ зелеными крупными буквами надпись ЗЕМНОЙ РАЙ.

Стояло много экипажей въ сторонѣ. Вереница экипажей подъѣзжала къ вычурно украшеннымъ воротамъ.

Елисѣйскій сказалъ:

— Ну вотъ и пріѣхали.

Ласточкинъ съ тупымъ недоумѣніемъ, согнувшись на своемъ мѣстѣ, осматривался вокругъ. Что-то ему вдругъ не понравилось, а что именно, онъ еще не могъ понять.

Захотѣлось опять, по зимнему, спорить. Ворчливымъ тономъ онъ сказалъ, не глядя на Елисѣйскаго:

— Стоило такую даль тащится!

Елисѣйскій увѣренно возразилъ:

— А вотъ войдешь, такъ увидишь, стоило ли.

И видно было по его спокойно-радостному лицу, что онъ совершенно увѣренъ въ томъ, что Земной Рай очаруетъ Ласточкина.

А Ласточкинъ ворчалъ:

— По-моему, ужасно некрасиво все это,—и эта нелѣпая вывѣска, и этотъ идіотскій заборъ, и эти глупыя ворота.

Елисѣйскій мелькомъ глянулъ на него, усмѣхнулся и сказалъ:

— Объ этомъ я не стану съ тобою спорить. Снаружи это, дѣйствительно, не производитъ хорошаго впечатлѣнія. Но вѣдь это все наскоро и пока. У нихъ все вниманіе было обращено на то, что внутри, и тутъ имъ, дѣйствительно, удалось достигнуть...

IV.

Въ это время извозчикъ повернулъ къ сѣдокамъ обросшее рыжею щетиною лицо и промолвилъ угрюмо:

— Баринъ, деньги приготовьте. Полиція гонитъ, потому съѣздъ большой.

Елисѣйскій сказалъ:

— Готово, готово.

И сунулъ извозчику трехрублевую бумажку.

Когда уже вышли, Ласточкинъ понялъ вдругъ, что его раздражаетъ. Онъ крикнулъ Елисѣйскому:

— Прощай, чортъ съ тобою, я не пойду!

И сердито зашагалъ по желтой песчаной дорожкѣ, проложенной вдоль забора.

Елисѣйскій, уже вставшій было въ хвостъ передъ кассою брать билеты, съ растеряннымъ и удивленнымъ видомъ

пустился догонять его. Говорилъ, слегка запыхавшись отъ неожиданности и торопливости:

— Послушай, Андрей Сергѣевичъ, да что съ тобою? Съ чего это ты? Увѣряю же тебя, что тамъ все очень прилично, и если ты думаешь, что что-нибудь такое, то увѣряю тебя, что все какъ слѣдуетъ, и ничего шокирующаго нѣтъ.

Ласточкинъ спросилъ отрывисто:

— Что стоитъ входъ?

Елисѣйскій говорилъ:

— Собственно входъ пустяки, всего три рубля. Тамъ, конечно, есть еще разныя мѣстечки, но ужъ это по желанію, ну, и тамъ различная плата, въ зависимости отъ того...

Такъ же сурово спросилъ Ласточкинъ:

— А у кого нѣтъ трехъ рублей?

Елисѣйскій сказалъ съ нѣкоторымъ даже неудовольствіемъ:

— Ну, у кого нѣтъ! Понятно, туда всякую шантрапу не пускаютъ. Тамъ все очень прилично, и разсчитано на самую избранную публику.

Ласточкинъ ѣдко переспросилъ:

— Да? На избранную публику? На ту самую, которая платитъ бѣшеныя деньги прославленнымъ гастролерамъ, хотя ни уха, ни рыла не смыслитъ въ искусствѣ?

Елисѣйскій пробормоталъ смущенно:

— Ну, зачѣмъ же такъ рѣзко! Вовсе ужъ мы не такіе профаны.

V.

Ласточкинъ, не слушая его говорилъ:

— Земной рай! Смотри, вотъ передъ тобою берега прекрасной рѣки. Воды ея сіяютъ въ лучахъ заката. Небеса пустынно-торжественны надъ нею. Деревья на ея берегахъ томятся сладкою грустью безсознательнаго счастія. Влажныя травы облелѣяны тишиною и тайною вешняго вечера. Вотъ, уже меркнетъ заря. Уже надъ рѣкою поднимаются легкіе,

прозрачные предвѣстники тумана. Сладостною завѣсою забвенія закутается бѣдный міръ придуманнагэ людьми города. Нѣжными вздохами счастія и печали донесутся сюда изъ города отголоски людской суеты. Преображенный міръ предстанетъ передъ нами, чаруя насъ опять и опять мечтательнымъ предвѣщаніемъ земного рая, рая безъ оградъ и безъ замкнутыхъ воротъ, безъ платы за входъ, рая, доступнаго для всѣхъ. Видишь, тамъ, на травѣ, на росѣ, бѣлыя мелькаютъ пляшущія ноги отроковъ и дѣвъ, и свирѣль стонетъ нѣжно, и прозрачно-легкій колышется смѣхъ, трепетно-звенящій въ очарованномъ смѣлою волею человѣка воздухѣ свободнаго навѣки міра. Ты хочешь, несчастный, чтобы предвѣщательныя мои мечтанія я промѣнялъ на утѣхи твоего придуманнаго ароматическаго сада за рѣшеткой! Оставь меня, иди туда одинъ, забавляйся, какъ умѣешь, а меня оставь моей задумчивой печали и легкому томленію моихъ мечтаній.

И разстались они,—своею дорогою пошелъ каждый.

ПОМНИШЬ, НЕ ЗАБУДЕШЬ.

I.

Предпраздничная веселая, но все же всѣмъ надоѣвшая, шумная суета кончилась. Въ квартирѣ Скоромыслиныхъ стало наконецъ тихо и по-праздничному легко. Запахи куличей, только-что испеченныхъ, вкусные, но тяжелые, смѣшались съ легкимъ, какъ сказка, ароматомъ духовъ.

Торжественные звоны, пушечные выстрѣлы, легкіе гулы веселыхъ голосовъ и стукъ колесъ и копытъ по торцамъ мостовой слабо доносились въ тишину и уютъ просторнаго кабинета, полузаглушенные тяжелыми складками портьеръ.

Николай Алексѣевичъ Скоромыслинъ не пошелъ къ пасхальной заутренѣ. Онъ всегда ходилъ въ эту ночь въ церковь вмѣстѣ съ женою и съ дѣтьми, а сегодня ему что-то занездоровилось. И настроеніе было тоскливое, совсѣмъ не праздничное.

Впрочемъ, въ послѣднее время это съ Николаемъ Алексѣевичемъ нерѣдко случалось, такое несоотвѣтствіе его настроеній съ тѣмъ, что чувствуютъ и переживаютъ всѣ другіе. Вокругъ веселые люди смѣются и шутятъ,—а Николай Алексѣевичъ грустенъ, задумчивъ, ему скучно, онъ готовъ говорить всѣмъ непріятныя слова. И наоборотъ бываетъ,—всѣ вокругъ волнуются, негодуютъ, плачутъ,—а онъ

спокоенъ, даже иногда веселъ. Стали даже говорить знакомые, что у Скоромыслина тяжелый характеръ.

Николаю Алексѣевичу просто не хотѣлось сегодня итти въ церковь; недомоганіе было только предлогомъ, чтобы не сказать коротко и просто:

— Не хочу. Поѣзжайте безъ меня.

Потому, между прочимъ, не хотѣлось итти, что будетъ много знакомыхъ въ той церкви,—домовой,—куда они ходятъ потому, что имѣютъ кое-какія связи съ людьми, причастными къ тому вѣдомству. Если пойти, то надо будетъ всѣмъ знакомымъ улыбаться, дѣлать беззаботное лицо, и говорить что-то легкое и никому не нужное, но совершенно обязательное въ эту ночь. И вообще, какъ всегда со знакомыми, надѣвать маску общепринятаго образца.

Ахъ, эти скучныя маски! Отчего нельзя всегда быть самимъ собою!

Самимъ собою можно быть только тогда, когда остаешься одинъ, совсѣмъ одинъ, когда знаешь, что никто не постучится въ дверь, когда можешь положить трубку телефона, чтобы не услышать докучнаго звонка. Только тогда спокойно можно отдаться мечтамъ и воспоминаніямъ, погрузиться въ ту легкую задумчивость, которая слаще всего на свѣтѣ.

Вотъ этого утѣшенія захотѣлось теперь Николаю Алексѣевичу.

II.

Передъ заутренею жена вошла къ Николаю Алексѣевичу въ кабинетъ, шурша бѣлымъ шелкомъ новаго платья, поправляя холодный, матовый жемчугъ на теплой бѣлизнѣ стройной шеи, и сказала:

— Пора ужъ намъ ѣхать. Неудобно приходить слишкомъ поздно. А ты, Коля, поѣдешь?

Николай Алексѣевичъ встрѣтилъ жену привычно-ласковою улыбкою, поцѣловалъ ея бѣлую, стройную руку съ кольцами, сіяющими многоцвѣтнымъ блескомъ камней, на

длинныхъ, тонкихъ пальцахъ, отъ которыхъ пахло сладко и нѣжно, и сказалъ:

— Нѣтъ, я лучше останусь дома. Подожду васъ. Полежу здѣсь. Голова у меня все еще побаливаетъ.

— Да, конечно,—сказала жена,—разъ что ты неважно себя чувствуешь, такъ лучше останься дома. А то еще простудишься. На улицѣ холодно, и вѣтеръ такой холодный. Ты много работалъ въ послѣднее время,—и это не хорошо. Не надо такъ утомляться.

Николай Алексѣевичъ лѣниво усмѣхнулся, и вяло возразилъ:

— Ну, гдѣ тамъ! Какая теперь моя работа! Въ городѣ совсѣмъ нѣтъ времени заняться какъ слѣдуетъ.

— Да,—сказала жена,—ужъ эта городская жизнь! Но вѣдь ты знаешь, Коля, для дѣтей приходится. А я и сама очень не люблю города. Я бы и зимою охотно жила въ деревнѣ.

Николай Алексѣевичъ тоже любитъ повторять, что не любитъ города, гдѣ такъ много пустыхъ развлеченій, встрѣчъ и разговоровъ, мѣшающихъ работѣ, гдѣ такъ поздно ложатся спать, и такъ поздно начинаютъ день. Городскіе жители, отравленные милымъ ядомъ городской жизни, и очень влюбленные въ соблазны этой шумной жизни, любятъ хулить нелѣпость и суету жизни большого города.

— Я дамъ тебѣ хинину,—сказала жена,—это тебѣ отлично поможетъ.

Николай Алексѣевичъ попытался возражать:

— Ну вотъ, зачѣмъ! Ничего мнѣ теперь не надо. Пожалуйста, не безпокойся. Я полежу спокойно, и все пройдетъ.

Но жена уже не слушала его. Она исчезла за темно-синею портьерою двери, легкая, какъ дѣвочка, совсѣмъ не похожая на сорокалѣтнюю даму, на мать пятерыхъ дѣтей.

Черезъ минуту она уже вернулась, и легко, шурша недлиннымъ шлейфомъ по синему, затянувшему полъ, сукну, пробѣжала черезъ комнату. Она держала въ одной рукѣ на блюдечкѣ съ розовымъ рисункомъ на фарфорѣ коробочку съ

облатками хинина, и высокую рюмку съ темною мадерою,— запить горькій порошокъ.

Веселая, нарядная въ своемъ бѣломъ, шитомъ тяжелымъ-тусклымъ золотомъ, платьѣ, съ полными бѣлыми плечами, и съ полными стройными руками, открытыми по-локоть, все еще красивая, съ пылающими отъ безотчетной веселости щеками, и съ порозовѣвшими раковинками тонкихъ, маленькихъ ушей, полузакрытыхъ завитыми локонами, благоухающая какими-то легкими, какъ сладостная райская мечта, духами, она стояла передъ Николаемъ Алексѣевичемъ, и требовала съ ласковою настойчивостью, чтобы онъ принялъ эту ненужную для него пакость.

Николай Алексѣевичъ шутливо вздохнулъ и развелъ руками, покоряясь неизбѣжному. Сказалъ:

— Ахъ, милая, я все еще тебѣ во всемъ послушенъ.

Жена улыбалась весело, обрадованная его шуткою. Николай Алексѣевичъ съ легкою гримасою усилія проглотилъ облатку. Запилъ ее мадерою. Легъ на диванъ, и съ удовольствіемъ протянулся на его широкомъ, упругомъ ложѣ, ощущая лѣвою рукою холодноватую, мягкую кожу его высокой, прямой спинки съ полочкою наверху, гдѣ стояло нѣсколько фотографическихъ портретовъ, и со шкапчиками по бокамъ.

Жена неторопливыми, ловкими движеніями пріятныхъ, полуобнаженныхъ рукъ поправила подъ головою Николая Алексѣевича шитую зелеными и розовыми шелками,—вѣнокъ изъ розъ,—атласную подушку, и покрыла Николая Алексѣевича мягкимъ клѣтчатымъ пледомъ, подъ которымъ сразу стало тепло, пріятно и спокойно, и такимъ милымъ сталъ легкій ознобъ въ спинѣ.

— Ну, что, Коля, теперь удобно тебѣ?—спросила жена.

— Очень. Спасибо, милая,—отвѣтилъ Николай Алексѣевичъ.—Ужъ ты не возись со мною, иди себѣ. Дѣти ждутъ, должно быть.

Но прежде, чѣмъ уйти, жена переставила съ письмен-

наго стола на столикъ у дивана наполовину отпитый стаканъ съ кисловато-сладкимъ, зеленоватымъ питьемъ, и раскрытую книгу, новый романъ. Потомъ она простилась съ Николаемъ Алексѣевичемъ нѣжнымъ поцѣлуемъ, сказала:

— Постарайся поспать до нашего прихода.

И ушла, легкая, веселая, благоуханная,—по сукну прошуршала шлейфомъ, портьеру колыхнула у двери,—ушла.

Николай Алексѣевичъ смотрѣлъ за нею, и глаза его благодарили, и губы улыбались ласково. Лихорадка мучила и нѣжила его, мѣняя ознобы и зной. Она напоминала ему о другой, которой съ нимъ уже нѣтъ,—и губы его улыбались и шептали:

— Помнишь, не забудешь? Милая Иринушка, не забудешь?

Были слышны недолго слабые изъ-за дверей отзвуки веселыхъ голосовъ въ залѣ и въ передней, донесся издали стукъ закрытой на лѣстницу двери,—и стало тихо.

III.

Николай Алексѣевичъ остался одинъ.

Онъ взялъ книгу. Пробѣжалъ нѣсколько страницъ. Но скучно было читать, и казалось неудобно держать книгу руками изъ-подъ пледа, которой при этомъ сползалъ съ плечъ, и комкался подъ правымъ бокомъ.

Николай Алексѣевичъ положилъ книгу на столикъ, и повернулъ выключатель стоявшей на столикѣ легкой лампы-качалки. Теперь кабинетъ былъ освѣщенъ только разсѣяннымъ, отраженнымъ отъ лѣпного потолка свѣтомъ двухъ лампочекъ люстры, прикрытой снизу тяжелымъ, темнымъ щитомъ.

Николай Алексѣевичъ закутался пледомъ, и погрузился въ смутное, пріятное состояніе полудремы.

Бывало, Николай Алексѣевичъ любилъ мечтать о будущемъ. Признакъ юности и скованной еще силы—мечта о будущемъ. Мечты о будущемъ утѣшали, когда настоящее было темно.

Теперь Николай Алексѣевичъ больше любилъ вспоминать былое. Старость ли надвигалась, слишкомъ ли яркія мечты утомили душу, или милаго много накопилось въ быломъ,— къ былому съ каждымъ годомъ все чаще обращались мысли.

Воспоминанія, какъ мечты, иногда. А иногда они, какъ проза. Иногда въ нихъ странное сплетеніе прозы и мечты, милаго и постылаго.

Что же эти дни, о которыхъ вспоминается такъ сладко, и такъ горько? Дни, когда было молодо, бѣдно, трудно и радостно,—что же эти дни?

И горе въ нихъ было, и тусклость бѣдной, скудной жизни.

Очень трудна была жизнь,—только молодость все скрашивала, и еще болѣе, несравненно болѣе, ея любовь. Любовь милой Иринушки, первой жены Николая Алексѣевича.

Иринушкина любовь чудеса дѣлала, и на убогій міръ дѣйствительности надѣвала для Николая Алексѣевича пышный нарядъ царственной мечты. Милая Иринушка, явленная ему въ обличіи простодушной Альдонсы, преображалась передъ нимъ торжественною Дульцинеею, прекраснѣйшею изъ прекрасныхъ, и преображала для него міръ.

Это было давно, такъ давно!

А теперь?

Теперь Николаю Алексѣевичу идетъ, — и уже давно идетъ,—пятый десятокъ. И все въ жизни его измѣнилось. Блѣдная, скучная бѣдность отошла. Жизнь полна, легка, пріятна. Хорошо теперь Николаю Алексѣевичу живется.

Хорошо?

Да, конечно, хорошо.

Только иногда странно какъ-то. Бѣдность и достатокъ,— откуда они? Зачѣмъ они такъ пытаютъ человѣка? Зачѣмъ то немудрое, чего добивается человѣкъ, приходитъ такъ поздно?

Вотъ были годы, когда, едва начавъ свою самостоятельную трудовую жизнь, бѣдный учитель въ уѣздномъ городишкѣ, женился Николай Алексѣевичъ на своей милой Иринушкѣ. Женился потому, что любилъ Иринушку, потому,

что она любила его. Женился, хотя оба они были бѣдны и одиноки.

Жена молоденькая въ его домѣ, и свирѣпая въ его домѣ бѣдность. Душа проситъ радостей и смѣха, а жизнь грозитъ напастями и бѣдами, и утомляетъ трудами, и не даетъ отдыха.

Работали они оба очень много, а денегъ у нихъ въ домѣ было очень мало. Порою и совсѣмъ не было денегъ. И очень мало было вещей. Да и тѣ вещи, которыя были, были плохи.

Но развѣ деньги и вещи сильнѣе человѣка?

Городъ, гдѣ они жили, былъ скверный, маленькій, ветхій городишко, обнищавшій вдали отъ сильныхъ людей и отъ большихъ дорогъ. И люди въ этомъ городѣ жили жалкіе, угрюмые, злые, завистливые, нищіе духомъ люди. А тѣ, въ комъ теплилась живая душа, томились тамъ, и тосковали, и рвались убѣжать изъ этого постылаго города, отъ этой тусклой жизни; и, если не могли убѣжать, умирали рано, или убивали сами себя, или спивались.

А вотъ теперь у Николая Алексѣевича дорогая, красивая, хорошо обставленная квартира на одной изъ лучшихъ улицъ большого города. Въ этой квартирѣ съ Николаемъ Алексѣевичемъ живутъ жена его, дѣти, у дѣтей гувернантка, студентъ-репетиторъ, бонна, и цѣлый штатъ прислуги. Въ этой квартирѣ часто бываютъ гости, милые, любезные, просвѣщенные люди; смѣется и плачетъ рояль, кто-то поетъ нѣжные и страстные романсы; танцуютъ весело и оживленно; говорятъ обо всемъ, что въ широкомъ мірѣ случается, волнуя сердца, и что въ искусствахъ живетъ живою жизнью. Когда нѣтъ гостей, вечеръ занятъ театромъ, концертомъ, маскарадомъ, посѣщеніемъ знакомыхъ, ужиномъ въ ресторанѣ.

Николай Алексѣевичъ работаетъ много, но все-таки гораздо меньше, чѣмъ въ тѣ, юные годы, его первые годы жизни съ милою Иринушкою. Имя его довольно извѣстно,— книги, которыя пишетъ Николай Скоромыслинъ, раскупаются

не плохо,—въ обществѣ о немъ иногда говорятъ,—газеты бранятъ его съ достаточною свирѣпостью, — словомъ, извѣстность несетъ ему свои дани.

Николаю Алексѣевичу, конечно, кажется, что у него мало денегъ. Никому изъ живущихъ въ городахъ не довольно того, что есть. Николай Алексѣевичъ въ этомъ не составляетъ исключенія.

А все-таки получаетъ Николай Алексѣевичъ за иной мѣсяцъ въ двадцать разъ больше, чѣмъ онъ получалъ за то же время въ тѣ давніе годы, за иной мѣсяцъ въ тридцать разъ больше, а то иногда и въ сорокъ разъ. Бываютъ и еще болѣе удачные мѣсяцы, но рѣдко.

Когда Николай Алексѣевичъ получитъ въ сорокъ разъ больше, чѣмъ прежде получалъ за мѣсяцъ, то часть этихъ денегъ откладывается; если въ тридцать разъ,—концы съ концами кое-какъ сводятся; если только въ двадцать, тогда тратятся и тѣ деньги, которыя были отложены въ удачливые мѣсяцы. Но въ концѣ-концовъ денегъ на все хватаетъ,—и на скромный образъ жизни, и на книги и картины, и на заграничныя ежегодныя поѣздки, безъ которыхъ никакъ нельзя обойтись, потому что всѣ знакомые за границу ѣздятъ, и много объ этомъ говорятъ, и потому, что за границею жить легко, пріятно и удобно. Пріятнѣе, чѣмъ въ Россіи, гдѣ газеты каждый день приносятъ такія странныя, неожиданныя новости.

IV.

Николай Алексѣевичъ скучающими глазами обвелъ знакомые, пріятно-привычные предметы своего кабинета. Все здѣсь было дорого, просто, прочно и красиво, въ строгомъ скандинавскомъ духѣ. Преобладалъ спокойный, холодный темно-синій цвѣтъ.

На громадномъ письменномъ столѣ были расположены въ педантичномъ порядкѣ бумаги, конверты, чернильницы, карандаши, перья, рамки съ портретами, часы, лампа, подсвѣч-

ники, вазы съ цвѣтами, бронзовыя фигурки для надавливанія на разрозненныя бумажки, и еще какія-то красивыя вещицы безъ опредѣленнаго назначенія. По стѣнамъ стояли шкапы американской системы, набитые книгами въ переплетахъ и безъ переплетовъ, и всѣ эти книги были разставлены строго по форматамъ,—маленькія повыше,—и въ каждомъ форматѣ по алфавиту.

Въ углу близъ окна стояла очень странная, но дорогая скульптура,—словно ножемъ или долотомъ наспѣхъ вырѣзанная изъ липоваго чурбана фигура неуклюжаго, некрасиваго, голаго увальня, опирающагося на палку, и согнувшаго для чего-то толстыя, мягкія колѣни. Но это было не дерево, а мраморъ, и непонятно было, зачѣмъ такъ безжалостно изуродованъ кусокъ прекраснаго камня талантливымъ скульпторомъ. А что скульпторъ былъ талантливъ, это было несомнѣнно при первомъ же взглядѣ на эту диковинную статую,—столько въ ней было силы и незабываемой выразительности.

Въ такомъ же странномъ родѣ были и нѣсколько висѣвшихъ по стѣнамъ картинъ въ гладкихъ серебристо-сѣраго цвѣта рамахъ. Краски этихъ картинъ были непомѣрно-ярки, а фигуры написаны были такъ, что долго надо было всматриваться, чтобы что-нибудь понять. И все же это были картины, отмѣченныя печатью несомнѣннаго таланта, сильнаго, яркаго, необузданно-смѣлаго, хотя, къ сожалѣнію, слишкомъ моднаго. А все модное въ искусствѣ, какъ и въ жизни, имѣетъ тотъ прискорбный недостатокъ, что рано или поздно выходитъ изъ моды, и забывается. Иное, впрочемъ, воскресаетъ въ позднихъ поколѣніяхъ; иное же забывается и погибаетъ навсегда.

На синей скатерти круглаго стола подъ люстрою видны были газеты, книжки новыхъ журналовъ, и нѣсколько горшковъ съ бѣлыми гіацинтами.

Много простора, свѣта и книгъ было въ этой комнатѣ, а Николаю Алексѣевичу припоминалась та убогая квартиренка, которую онъ и его Иринушка снимали за три рубля

въ мѣсяцъ. Вѣдь ихъ было тогда только двое,—куда-жъ бы имъ была большая квартира? Да и что бы они стали дѣлать съ большою квартирою?

Иринушка даже не соглашалась взять прислугу. Жалованье и содержаніе прислуги составили бы слишкомъ обременительную статью въ ихъ болѣе, чѣмъ скромномъ бюджетѣ. Иринушка сама справлялась со всѣми работами по хозяйству, и храбро дѣлала все то, чему ее не учили ни въ гимназіи, ни дома,—пищу стряпала, полы мыла.

Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, милая, помнишь?

Помнишь, Иринушка, этотъ маленькій, захолустный городишко, грязный, тусклый, лѣнивый, сонный, этотъ злой городъ, осатанѣлый отъ лѣни, водки и сплетенъ?

Пришлось прожить въ немъ нѣсколько лѣтъ. И особенно тяжело было въ первый годъ.

Николаю Алексѣевичу еще ничего было,—онъ былъ постарше. А его шестнадцатилѣтней Иринушкѣ, должно быть круто приходилось. Но она не жаловалась, и всегда очень была весела. Сама смѣялась, и Николая Алексѣевича забавляла. Звонкимъ, зыбкимъ смѣхомъ заслоняла отъ него уродливый ликъ темной жизни. Разгоняла злыя чары жизни, какъ умѣла, какъ могла,—смѣхомъ, пѣснею, пляскою.

Иринушка, милая, помнишь, не забудешь?

Помнишь, Иринушка, эту первую осень, безпросвѣтную, холодную, мокрую, злую?

V.

Сѣрыя тучи облекли все небо, и сѣрый, холодный, скупой сѣялся сквозь нихъ свѣтъ осенняго, скуднаго дня. Тоска разлита была въ тяжелыхъ, мокрыхъ тучахъ, и въ воздухѣ холодномъ и сыромъ,—и отъ земли, отъ этихъ немощенныхъ улицъ, поднималась неизбывная тоска.

Весь день шелъ дождь, мелкій, упрямый, маленькій и злой дождичекъ, гнусный спутникъ маленькой, тусклой

жизни сѣраго захолустья. Стекла маленькихъ оконъ были отъ этого дождика слезливо мокры, и жидкая, липкая, черная грязь лежала на улицахъ, а на мосткахъ, гнилыхъ и грязныхъ, пухли и зябли рябыя лужицы, и мокры были давно уже голыя вѣтки березъ и осинъ въ садахъ и огородахъ за сѣрыми заборами.

Вѣтеръ проносился порывами, воя злобно и жалобно, сырой и холодный, и съ мелкою яростью трепалъ эти голыя вѣтки мокрыхъ, растрепанныхъ деревьевъ. И въ тонкихъ визгахъ вѣтра все та же слышалась безумная тоска.

По улицѣ медленно тащилась телѣга съ какими-то сѣрыми кулями, колесами увязая въ грязи. Пѣгая лошаденка тяжело ступала, звучно хлюпая въ грязи ногами, и тяжело дыша, вся мокрая, понурая, жалкая. И была она такая же тихая, съ плачущими глазами, съ растрепанными вѣтромъ мокрыми космами сѣдой гривы, и жалкая такая же, какъ бредущій по грязи рядомъ съ телѣгою мокрый мужикъ въ какомъ-то сѣромъ, заскорузломъ кожанѣ.

Черезъ улицу медленно и лѣниво зачѣмъ-то перебирался босоногій мальчишка, высоко засучивъ ветхіе штанишки, и утопая въ жидкой грязи до покраснѣвшихъ голыхъ колѣнокъ. На немъ былъ надѣтъ рваный кафтанишко; его трепаные свѣтлые волосенки прикрывала помятая шапка съ расколотымъ козырькомъ; шею обматывалъ пухлый, грязно-краснаго цвѣта платокъ; голыя худыя ножонки были сини отъ холода и грязны. Остановившись посерединѣ улицы, мальчишка засунулъ грязные пальцы въ ротъ и пронзительно засвисталъ, посматривая направо и налѣво по улицѣ, словно поджидая кого-то. Но никого не было, и мальчишка побрелъ себѣ дальше, повидимому наслаждаясь этимъ купаньемъ въ грязи подъ дождикомъ.

Ворона однимъ глазомъ смотрѣла на него, усѣвшись на высокомъ заборѣ, и пронзительно каркала.

Николай Алексѣевичъ вышелъ по шаткимъ ступенькамъ крыльца на дворъ, чтобы помочь Иринушкѣ донести ведра съ водою. Брызги холоднаго дождя настойчиво бились въ

его лицо, и сырой вѣтеръ тяжело колыхалъ на его лбу прядку отбившихся волосъ.

Подъ мелкимъ дождикомъ, по узкимъ, брошеннымъ черезъ грязь на дворѣ, досчечкамъ, осторожно переступая мокрыми босыми ногами, тихо шла отъ огорода Иринушка,— черезъ огородъ на рѣчку за водою ходила. Тяжелое коромысло грузно лежало на Иринушкиномъ плечѣ. Два ведра съ легкимъ скрипомъ колыхались, плеща порою воду на покраснѣвшія отъ холода стопы Иринушкиныхъ легкихъ ногъ. Вѣтеръ трепалъ подолъ ея подобранной высоко синей юбки.

Иринушка, придерживая обѣими маленькими, покраснѣвшими, мокрыми отъ дождя руками коромысло, гнулась подъ его тяжестью. Горячо рдѣли ея щеки, и выраженіе усилія было на ея лицѣ. Темныя, густыя Иринушкины брови слегка хмурились, а ея нѣжныя, алыя губы весело улыбались ему, вышедшему ей помочь.

Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, помнишь?

Старое, рваное платьишко, похолодѣвшія маленькія руки и эта кроткая улыбка, и покраснѣвшія отъ холода, глиною запачканныя ноги.

Николай Алексѣевичъ снялъ съ коромысла ведра, внесъ ихъ въ сѣни, ласково Иринушку сталъ упрекать:

— Иринушка, Иринушка, развѣ же такъ можно! На дворѣ такъ холодно, а ты ножекъ не обула.

Иринушка улыбается и оправдывается:

— Такая глина липкая и вязкая, такъ башмаки пачкаетъ, потомъ бьешься, бьешься, не отчистить. А ноги въ воду опущу, сойдетъ глина.

— Такъ вѣдь холодно!—говоритъ Николай Алексѣевичъ

— Такъ что-жъ, что холодно!—весело отвѣчаетъ Иринушка, смѣется, и, легкая, взбѣгаетъ по шаткимъ ступенямъ, нарочно громко стуча по нимъ ногами, чтобы согрѣться поскорѣе.—Согрѣюсь,—говоритъ она весело.

Помнишь, милая, не забудешь? Эту тѣсную, угрюмую квартирку, Иринушка милая, не забудешь?

Какъ забыть! Не забудешь. И хочешь забыть, да не забудешь.

Полусгнившее крыльцо гнулось на бокъ. Балясины перилъ пообломались, упали иные, кто-то сжегъ ихъ въ печкѣ.

Старая крыша дала течь. Подстилали на чердакѣ тряпки какія-то, корыто ставили,—а все же иногда и въ комнатѣ капало съ потолка.

Доски пола шатались подъ ногами, и скрипѣли жалобно и противно. Отъ оконъ дуло. Въ одномъ изъ оконъ разбитое пополамъ стекло было склеено замазкою, чтобы не вставлять новаго.

— Не красиво, Иринушка,—говорилъ Николай Алексѣевичъ.—Купимъ новое.

— Не красиво, да спасибо,—отвѣчала Иринушка.

И смѣялась.

Милая Иринушка! Хоть бы разъ ты его упрекнула. Хоть бы словечко укора ему или судьбѣ промолвила когда нибудь! Хоть бы заплакала когда, хоть бы, плача, пожаловалась, пороптала бы хоть немножко!

Никогда, ни разу не видѣлъ Николай Алексѣевичъ Иринушкиныхъ слезъ, не слышалъ ея жалобъ и ропота,—никогда!

VI.

Былъ вечеръ. Усталые оба, они сидѣли у стола, при свѣтѣ керосиновой лампы, прикрытой зеленымъ стеклянным абажуромъ. На вязаной бѣлой скатерти лежала раскрытая книга. Иринушка читала вслухъ, Николай Алексѣевичъ слушалъ.

Онъ смотрѣлъ на склонившуюся надъ книгою голову, на ровный проборъ въ темно-русыхъ волосахъ, слушалъ Иринушкинъ ровный голосъ, такъ отчетливо произносившій слова разсказа о далекомъ, о чужомъ. Потомъ Николай Алексѣевичъ переводилъ глаза на зеленый узоръ обоевъ, на стулъ съ прямою спинкою, стоявшій у стѣны, на темную

газерку въ углу близъ окна, на желѣзную печь въ другомъ углу. Бѣдные предметы скучнаго обихода съ докучною ясностью метались въ глаза. Николаю Алексѣевичу было грустно.

Иринушка кончила читать, закрыла книгу, сказала:

— Будетъ на сегодня. Завтра дочитаемъ.

Посмотрѣла на Николая Алексѣевича, улыбнулась и спросила:

— Коля, что ты невеселъ, голову повѣсилъ?

Улыбалась, и Николай Алексѣевичъ улыбался ей въ отвѣтъ, но улыбкою тоскливою, какъ дождь осенній за коленкоровою шторою, за мокрымъ окномъ, на улицѣ, гдѣ темно и уныло.

Спрашивала Иринушка:

— Хочешь, Коля, я для тебя буду танцовать, хочешь?

И танцовала, тоненькая, легонькая, едва касаясь жесткихъ досокъ пола розовыми пальчиками легкихъ босыхъ ногъ, красивымъ жестомъ маленькихъ рукъ приподнимая юбочку свою синюю.

Николай Алексѣевичъ улыбался невесело, и говорилъ:

— Милая Иринушка, отчего ты меня никогда не упрекаешь?

Иринушка поднимала брови милымъ движеніемъ удивленной маленькой женщины, и спрашивала:

— Коля, да за что мнѣ тебя упрекать? Что же ты мнѣ сдѣлалъ худого?

И говорила:

— Я съ тобою счастлива, милый мой Коля, милый!

И, присѣвъ къ нему на колѣни, обнимала его жаркими, тонкими руками, и цѣловала его нѣжно и долго.

Николай Алексѣевичъ говорилъ:

— Милая Иринушка, не на радость ты меня полюбила. Я такъ бѣденъ, и тебѣ со мною такъ трудно.

— О, бѣдность!—безпечно говорила Иринушка.—Да развѣ это такая большая бѣда? Развѣ надо жить въ роскошныхъ

палатахъ? Только надо быть веселымъ и сильнымъ, и хотѣть счастія.

И спрашивала Иринушка Николая Алексѣевича, обвивъ руками его шею, и заглядывая въ его грустные глаза своими синими, счастливыми глазами:

— Ты хочешь со мною счастія, Коля? Хочешь?

Николай Алексѣевичъ говорилъ, невесело улыбаясь:

— Кто же, Иринушка, не хочетъ счастія! Всѣ его хотятъ.

Иринушка весело говорила:

— Ну вотъ, и я хочу,—и уже я счастлива. Я съ тобою Коля милый, больше мнѣ ничего и не надо.

Потомъ Иринушка задумывалась ненадолго, и говорила:

— Надо сохранить въ себѣ волю къ жизни,—вотъ только это надо. Все остальное дастся.

Николай Алексѣевичъ спрашивалъ:

— А ты знаешь, Иринушка, какъ сохранить эту волю?

Иринушка улыбалась увѣренно, какъ озаренная высокою мудростью, и говорила:

— Знаю. Чтобы сохранить волю къ жизни, надо питать ее жаждою счастія. Тогда и жизнь, и счастіе, будутъ наши.

Опять смѣялась Иринушка радостно и громко, и плясала по тѣсной комнатѣ, и былъ веселъ на шаткихъ доскахъ пола легкій плескъ ея быстро мелькающихъ изъ-подъ синей юбочки ногъ. И казалась она тогда легкою дѣвою высотъ, сошедшею на землю, чтобы утѣшить тоскующаго въ долинѣ бѣдъ человѣка.

Николай Алексѣевичъ былъ утѣшенъ, и силы вновь чувствовалъ въ себѣ великія на трудъ, на достиженія.

VII.

Вотъ и прошли они, эти тяжелые годы.

Иринушка, милая, ты помнишь ихъ? Ты ихъ не забудешь?

Иринушка милая, гдѣ ты?

Прошли тяжелые годы. Успокоенная жизнь катится легко и мирно. У Николая Алексѣевича жена и дѣти, и весь удобный, обезпеченный обиходъ.

И жену Николай Алексѣевичъ любитъ, и жена его любитъ. Ему кажется иногда, что онъ любитъ жену за пережитые Иринушкою тяжелые годы. И когда онъ думаетъ объ этомъ, онъ самъ себѣ дивится, дивится тому, что онъ любитъ эту, вторую, за Иринушкинъ трудъ жизни, сохраненной жаждою счастія. Счастія, которое не Иринушкѣ улыбнулось.

Не странно ли это! Правда ли, что за одну любитъ Николай Алексѣевичъ другую?

Да и какъ же иначе? Нельзя любить два раза,—думаетъ иногда Николай Алексѣевичъ.—Кого полюбилъ однажды, того полюбилъ навѣки.

Но навѣки полюбилъ онъ Иринушку.

Милая Иринушка, гдѣ ты?

Тамъ, въ городѣ постыломъ и ненавистномъ, на далекомъ кладбищѣ, въ тѣсной и темной могилѣ истлѣвая, спитъ Иринушка. Руки на груди сложила, плотно синіе глаза сомкнула, успокоилась рано.

Въ первое время послѣ Иринушкиной смерти былъ неутѣшенъ Николай Алексѣевичъ. Но забудется всякое на землѣ горе, и всякая скорбь земная смирится.

Любитъ Николай Алексѣевичъ свою вторую жену, любитъ нѣжно, и дѣти отъ нея милы ему. Но порою, въ послѣднее время все чаще, Иринушка ему вспомнится,—и тогда эта, вторая, чужою кажется ему и далекою. И тогда вдругъ все, что вокругъ, становится для Николая Алексѣевича чужимъ и ненужнымъ. И только одного хочетъ сердце,—хочетъ невозможнаго, хочетъ вернуть невозвратное.

Иринушка, Иринушка, гдѣ ты?

Вотъ, кажется, подходитъ она тихо къ его ложу,—и въ глазахъ ея кроткій упрекъ, въ глазахъ Иринушкиныхъ, синихъ, какъ ночное небо. Покачиваетъ головою, сказать что-то хочетъ, и не можетъ.

VIII.

Вотъ и вернулись. Изъ церкви. Въ передней голоса и шумъ,—веселые голоса, легкій шумъ. За дверью быстрые шаги, легкій стукъ, милый голосъ второй жены:

— Коля, ты спишь? Мы ужъ вернулись. Къ тебѣ можно?

Николай Алексѣевичъ тихо отвѣчаетъ:

— Войди.

А встать ему не хочется, и не хочется видѣть людей, и пасмурное лицо повернуто къ спинкѣ дивана.

Шелестъ наряднаго платья слышится, и приближаются легкіе по сукну шаги, и тихій голосъ, говорящій веселое что-то.

Присѣла на диванъ къ Николаю Алексѣевичу, къ его груди приникла,—веселая, радостная, все еще такая молодая, милая,—вторая жена, не Иринушка.

Иринушка, милая Иринушка, гдѣ же ты?

Милая Иринушка, помнишь, не забудешь?

Гдѣ же ты? Душа моя тебя жаждетъ!

Тихія слышны слова, отвѣтомъ на страстные зовы:

— Христосъ воскресъ.

И такъ же тихо отвѣтилъ Николай Алексѣевичъ:

— Воистину воскресъ.

Онъ повернулся, протянулъ руки, обнялъ милую, цѣлуетъ. И близко, близко въ его глаза глядятъ глаза иные, милые глаза.

Кто же это? Неужели чужая?

Иринушка, это ты?

Тихо отвѣчаетъ она, прильнувшая къ его груди, отдавшаяся его объятіямъ:

— Это—я. Развѣ ты не узналъ меня, приходящую тайно въ полуночи? Ты зовешь меня второю женою, ты любишь меня, не зная, кто я, ты называешь меня, какъ называли меня дома, бѣднымъ, чужимъ именемъ, Наташею. Но узнай, узнай въ эту святую ночь, что я—я, что я—твоя, что я—та, которую ты не забылъ, которую ты зовешь, Ирина твоя,

вѣчная твоя спутница, вѣчно съ тобою. Похоронилъ ты бѣдное тѣло маленькой твоей Ринушки, но любовь ея сильнѣе смерти, и душа ея жаждетъ счастія, и жизни хочетъ, и расторгаетъ оковы тлѣнія, и во мнѣ живетъ. Узнай меня цѣлуй меня, люби меня.

Радостно обнялъ Николай Алексѣевичъ свою вторую жену, и смотрѣлъ въ ея глаза, и узнавалъ въ нихъ Ринушкинъ привѣтъ,—и лобзалъ ея губы, и узнавалъ въ нихъ ласку, нѣгу и зной Ринушкиныхъ устъ, жаждущихъ счастія, жизни и любви.

Николай Алексѣевичъ повторялъ, плача отъ счастія, сладчайшаго всѣхъ земныхъ утѣхъ:

— Милая, ты помнишь? Ты не забудешь, милая?

А она ему отвѣчала:

— Коля, милый, у тебя совсѣмъ разстроены нервы. Я же тебѣ говорила, что не надо такъ много работать. Прими брому.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Бѣлая березка. Напечатано въ журналѣ „Русская Мысль“ 1909 г. № 1.

Сонъ утѣшающій. Въ газетѣ „Рѣчь“ 1909 г. № 86, 29 марта.

Иванъ Ивановичъ воскресъ. Въ газетѣ „Слово“ 1909 г. № 751, 29 марта.

Путь въ Эммаусъ. Въ „Нашей Газетѣ“ 1909 г. № 74, 29 марта.

Старый домъ. Въ третьемъ сборникѣ „Земля“. Написано вмѣстѣ съ Анастасіею Чеботаревскою.

Золотая лѣстница. Въ газетѣ „Рѣчь“ 1909 г. № 354, 25 декабря.

Красногубая гостья. Въ газетѣ „Утро Россіи“ 1909 г. № 67—34, 25 декабря.

Путь въ Дамаскъ. Въ двѣнадцатомъ альманахѣ Шиповника. Написано вмѣстѣ съ Анастасіею Чеботаревскою.

Благополучный Іуда. Въ газетѣ „Утро Россіи“, 1910 г. № 126, 18 апрѣля.

Наивныя встрѣчи. Въ газетѣ „Одесскія Новости“ 1910 г., 18 апрѣля.

Одно слово. Въ газетѣ „Утро Россіи“ 1910 г. № 335, 25 декабря.

Земной рай. Въ газетѣ „Биржевыя Вѣдомости“ 1911 г. № 12155, 3 февраля, вечерній выпускъ.

Помнишь, не забудешь. Въ газетѣ „Утро Россіи“ 1911 г. № 82, 11 апрѣля.

СОДЕРЖАНІЕ

	Стр.
Бѣлая березка	9
Сонъ утѣшающій	19
Иванъ Ивановичъ воскресъ	29
Путь въ Эммаусъ	39
Старый домъ	47
Золотая лѣстница	111
Красногубая гостья	129
Путь въ Дамаскъ	147
Благополучный Іуда	165
Наивныя встрѣчи	181
Одно слово	191
Земной рай	207
Помнишь, не забудешь	217
Примѣчанія	237